

Александр Дюма

Полина

Подвенечное платье

MMB-Text

Александр Дюма

Полина; Подвенечное платье

Дюма А.

Полина; Подвенечное платье / А. Дюма — «ММВ-Text»,

«Полина» и «Подвенечное платье» – два прекрасных романа о любви и непреодолимой силе рока. Жизнь аристократки Полины де Мельен обещала быть безоблачно счастливой, однако, едва выйдя замуж, светская дама оказывается заточенной в подземелье старинного аббатства, куда за последние двадцать лет не ступала нога человека. По воле случая Альфред де Нерваль, уже давно питавший безответную любовь к Полине, вызволяет ее из темницы. Некоторое время спустя, взяв со спасителя клятву хранить все в тайне, Полина рассказывает ему историю своей жизни... Положение в обществе, честное имя и высокое происхождение прочили юной парижанке Цецилии де Марсильи безмятежное существование. Так бы оно и было, но власть во Франции переменилась, и теперь ее семейство вынуждено спасаться бегством. По подложным документам они перебираются в Англию, где их ждет нелегкая жизнь. Вызволить семью из бедственного положения может лишь удачное замужество подросшей Цецилии. Но для кого вышивает она свое подвенечное платье – для простого, но богатого Эдуарда или для благородного, но разоренного Генриха?

Содержание

Полина	5
I	6
II	10
III	14
IV	18
V	22
VI	27
VII	31
VIII	38
IX	43
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Александр Дюма

Полина. Подвенечное платье

Полина



I

Однажды субботним вечером в конце 1834 года мы сидели в маленькой комнате, смежной с фехтовальной залой Гризье. С рапирами в руках мы курили сигары и заслушивались учеными теориями нашего профессора, которые порой прерывались анекдотами. Вдруг дверь отворилась, и в комнату вошел Альфред де Нерваль.

Те, кто знают о моем путешествии в Швейцарию, вероятно, вспомнят этого молодого человека, везде сопровождавшего одну таинственную даму, лицо которой всегда скрывала вуаль. Эту даму я в первый раз увидел во Флелене, когда бежал с Франциско к шлюпке, что должна была доставить нас к камню Вильгельма Телля. Читатели также вспомнят, что Альфред де Нерваль, которого я надеялся иметь своим товарищем в дороге, вместо того чтобы подождать меня, приказал гребцам отплывать, и, оставляя берег в ту самую минуту, когда я был в пятистах шагах от него, сделал мне знак рукой: и прощальный, и дружеский одновременно. Я понял его так: «Виноват, любезный друг! Очень бы желал тебя видеть, но я не один и...» На это я ответил другим знаком, которым хотел выразить, что прекрасно его понимаю. Остановившись, я поклонился в знак повиновения этому решению, чрезвычайно строгому, как мне казалось тогда, ведь из-за отсутствия других шлюпок и гребцов я не мог отправиться в путь ранее другого дня. По возвращении в гостиницу я спросил, не знает ли кто, что за женщина была с Альфредом де Нервалем. Мне ответили, что о ней известно только то, что, по видимому, она очень больна и что зовут ее *Полиной*.

Я уже успел забыть об этом, когда у источника горячих вод, наполняющих купальни Пфеферса, увидел под длинной подземной галереей Альфреда де Нерваля, подающего руку той самой даме, которую я встречал уже во Флелене, и которая там пожелала остаться неизвестной. Я заметил, что она и на этот раз хотела сохранить инкогнито, потому что поспешила возвратиться назад. К несчастью, дорожка, по которой мы шли, не позволяла повернуть ни вправо, ни влево. Это был своего рода мост, составленный из двух досок, мокрых и скользких, которые, вместо того чтобы быть переброшенными через пропасть, в глубине которой по мраморному ложу катилась Тамина, тянулись вдоль стены подземелья, уложенные на бревна, вмурованные в скалу. Таинственная спутница моего друга, увидев, что бежать некуда, опустила вуаль и двинулась мне навстречу.

Она, бледная и легкая как тень, произвела на меня неизгладимое впечатление, когда бесстрашно прошла по краю бездны, словно принадлежала уже другому миру. При ее приближении я прижался к стене, чтобы оставить ей как можно больше места. Альфред хотел, чтобы его спутница прошла одна, но она все не решалась оставить его руку, так что на какой-то миг, короткий как вспышка молнии, мы втроем очутились на островке не более двух футов¹ в ширину. Эта странная женщина, подобно фее, склонившейся с берега к водным потокам, волосы которой плещутся в пене каскадов, чудом прошла по краю пропасти; однако не так скоро, чтобы я не разглядел бледного и спокойного лица ее, изнуренного страданием. Тогда мне показалось, что я не в первый раз его вижу. Оно пробудило во мне темное воспоминание о другом времени, воспоминание о гостинях, балах, праздниках. Мне казалось, что я знал эту женщину раньше, но не такой измученной и печальной, как теперь, а веселой, румяной, увенчанной благоухающими цветами, кружащейся в упоительном вальсе или шумном галопе². Где же это было? Не знаю!.. В какое время? Не могу сказать!.. Она была мечтой, эхом моих воспоминаний, чем-то неопределенным и едва уловимым, что ускользало от меня, словно прозрачное видение. Я вернулся к купальням Пфеферса через полчаса, надеясь вновь ее увидеть.

¹ Единица измерения расстояния; 1 фут приблизительно равен 0,3 метра.

² Род танца или музыка к нему.

Я готов был даже прибегнуть к дерзости, чтобы достигнуть своей цели, но не нашел там ни ее, ни Альфреда.

Прошло два месяца после этой встречи, я находился в Бавено, подле озера Маджиоре. Стоял прекрасный осенний вечер: солнце скрылось за горной цепью Альп и с востока, где все ярче проявлялись россыпи звезд, надвигалась тень. Окно мое выходило на террасу, покрытую цветами; я спустился с нее и очутился в лесу лавровых, миртовых и апельсиновых деревьев. Цветы так хороши, что мало быть подле них: хочется наслаждаться ими, и где бы их ни находили – в поле, в саду, кто бы их ни находил – дитя, женщина или мужчина, – следуя какому-то естественному побуждению, они срывают их и делают букет, чтобы благоухание и прелесть цветов всегда были с ними. И я не устоял перед искушением и сорвал несколько ароматных веток. Затем я направился к парапету из розового мрамора, который возвышался над озером, отделенным от сада большой дорогой, ведущей из Женевы в Милан. Едва я дошел до него, как луна показалась из-за Сесто, и лучи ее скользнули по горным пикам, видневшимся на горизонте, и по воде, спавшей у ног моих, блестящей и неподвижной как огромное зеркало. Все замерло: ни единого звука не было слышно на земле, на озере, в небе, и в этом величественном и меланхолическом безмолвии ночь вступала в свои права. Вскоре в густых кронах деревьев, которые возвышались по левую сторону от меня, и корни которых омывала вода, зазвучала песнь соловья, гармоничная и нежная. То был единственный звук, нарушавший тишину ночи; он длился с минуту, звонкий и мерный; потом вдруг рулада оборвалась. Этот шум как будто пробудил другой, но совсем иного свойства: вдали раздался стук колес экипажа, ехавшего от дома д'Оссола. В это время соловей опять начал петь, и я слушал только птичку Джульетты. Когда она смолкла, я уловил вновь стук колес приближавшегося экипажа, двигавшегося очень быстро. Однако ж, несмотря на скорость его движения, мой мелодический певец успел начать очередную свою ночную молитву до его появления. Но на этот раз, едва он пропел последнюю ноту, я заметил на повороте из лесу коляску, которая неслась по дороге, проходившей мимо гостиницы. В двухстах шагах от нее кучер хлопнул бичом, чтобы дать знать о прибытии своему собрату. В самом деле, почти тотчас тяжелые ворота гостиницы заскрипели на своих петлях, и вывели новых лошадей; в эту самую минуту коляска остановилась под террасой, на перила которой я опирался.

Ночь, как я сказал, была так светла и так прекрасна, что путешественники, желая насладиться чистым воздухом, отстегнули фартук коляски; их было двое: молодой мужчина и молодая женщина, закутавшаяся в большую шаль или манто. Она в задумчивости склонила голову на плечо молодого человека, который ее поддерживал. Скоро вышел кучер с огнем, чтобы зажечь фонари на коляске; луч света скользнул по лицам путешественников, и я узнал Альфреда де Нерваля и Полину.

Опять они!.. Мне казалось, будто что-то могущественнее случая устраивало наши встречи. Она сильно изменилась с нашей последней встречи в Пфеферсе – настолько бледная, настолько изнуренная, что это была, казалось, лишь тень. Однако ж ее поблекшие черты вновь всколыхнули во мне тот неясный образ женщины, который хранился в глубинах моей памяти. Он появлялся при каждой новой встрече, всплывал в моем сознании, скользил в моих мыслях, как туманное видение Оссиана. Я готов был уже произнести имя Альфреда, но вспомнил, что спутница его не хотела, чтобы ее видели. Однако неизъяснимое чувство жалости так влекло меня к ней, что хотелось, по крайней мере, дать ей знать, что есть человек, который молится о ее слабой душе, чтобы она не оставляла раньше времени ее прелестного тела. Я достал из кармана визитную карточку и написал на обороте карандашом: «Бог хранит странников, утешает скорбящих и исцеляет болеющих!..» Поместил ее среди померанцевых и миртовых цветов, что я нарвал, и бросил букет в коляску. В ту же самую минуту кучер тронул лошадей; однако ж я увидел, как Альфред высунулся из коляски и поднес мою карточку к фонарю. Тогда он обернулся, сделал мне рукой знак, и коляска исчезла за поворотом дороги.

Шум удалявшегося экипажа стихал; но на этот раз он не был прерван песней соловья. На террасе, повернувшись к кустарнику, я пробыл еще с час в напрасных ожиданиях. Тогда одна печальная мысль овладела мной. Я вообразил себе, что эта птичка, которая пела, была душой молодой женщины, пропевшей свою последнюю торжественную песнь, прощаясь с землей, и отлетевшей на небо.

Восхитительное расположение гостиницы на краю Альп, на границе Италии, позволяет наслаждаться чудесными картинами природы. Отсюда открывается великолепный вид на тихое озеро Маджиоре, с тремя его островами, один из которых – сад, другой – деревня, а третий – дворец. Первые зимние снега, покрывшие горы, и последнее осеннее тепло, приходящее со Средиземного моря, – все это задержало меня в Бавено на восемь дней. Потом я поехал в Ароно, а оттуда – в Сесто-Календе.

Здесь меня ожидало последнее воспоминание о Полине: звезда, движение которой видел я в небе, – померкла; ножка, так легко коснувшаяся края бездны, – сошла в могилу!.. И исчезнувшая юность, и поблекшая красота, и разбитое сердце – все, все погребено под камнем, который, скрывая это тело так же таинственно, как при жизни вуаль покрывала лицо ее, не оставил любопытствующему свету ничего, кроме имени *Полины*.

Я ходил взглянуть на ее гробницу: она была совершенной противоположностью итальянским гробницам, всегда стоящим в церквях, и возвышалась в прекрасном саду на лесистом холме. Это было вечером; от лунного света камень начинал белеть... Я сел подле него, припугивая мысль свою собрать все воспоминания, рассеянные и неясные, об этой молодой женщине. Но и на этот раз память мне изменила: мне представлялся призрак с расплывчатыми очертаниями, а не статуя с ее четкими контурами. Я отказался от дальнейших попыток проникнуть в эту тайну до тех пор, пока не увижу Альфреда де Нерваля.

Теперь вы понимаете, как его неожиданное появление в ту минуту, когда я меньше всего думал о нем, поразило вдруг мой ум, мои сердце и воображение. В одно мгновение я вспомнил все: и шляпку, убежавшую от меня, и этот подземный мост, подобный преддверию ада, где путешественники кажутся тенями, и эту маленькую гостиницу в Бавено, мимо которой промчалась карета; наконец, этот белеющий камень, где, при свете луны, пронизывающем кроны апельсиновых деревьев, можно было прочесть, вместо эпитафии, имя этой женщины, умершей во цвете лет и, вероятно, очень несчастной.

Я бросился к Альфреду, как человек, заключенный долгое время в подземелье, бросается к свету, который входит в дверь, ему отворенную. Он печально улыбнулся и протянул мне руку. Тогда мне стало стыдно при мысли, что Альфред, мой старинный друг, которого я знал уже пятнадцать лет, мог принять мое чувство за простое любопытство.

Он вошел. Это был один из лучших учеников Гризье. Однако же около трех лет его не видели в фехтовальной зале. В последний раз он появился там накануне дуэли. Не зная еще, каким оружием будет драться, он приезжал тогда на всякий случай, *набить руку* с учителем. С тех пор Гризье с ним не виделся; он слышал только, что де Нерваль оставил Францию и уехал в Лондон.

Гризье, который заботился о репутации своих учеников, как о своей собственной, обменявшись с Альфредом обыкновенными приветствиями, подал ему рапиру и выбрал из нас противника ему по силам. Насколько я помню, это был бедный Лабаттю, уехавший потом в Италию и обретший в одиночестве и безвестности последний приют в Пизе. При третьем ударе рапиры Лабаттю встретилась с рукояткой оружия его противника и, разломившись в двух дюймах ниже гарды, прошла сквозь эфес и разорвала рукав его рубашки, покрывшийся кровью. Лабаттю тотчас бросил рапиру; он думал, как и мы, что Альфред ранен.

К счастью, это была только царапина; но, подняв рукав рубашки, Альфред открыл нам другой рубец, который казался гораздо серьезнее: пистолетная пуля обезобразила его плечо.

– Ба!.. – сказал Гризье с удивлением. – Я и не знал, что у вас есть эта рана.

Учителю было известно о нас все, как кормилице – о ее ребенке; ни один из учеников его не имел ни одной царапинки на теле, о которой бы он не знал. Я уверен, если бы Гризье захотел рассказать о причинах известных ему дуэлей, то написал бы любовную историю, самую занимательную и соблазнительную, но это наделало бы много шума в свете и повредило бы его заведению. Он напишет о них записки, которые будут изданы по его смерти.

– Эту рану, – сказал Альфред, – я получил на другой день после свидания с вами, после чего уехал в Англию.

– Я вам говорил, чтобы вы не дрались на пистолетах. Вы забыли общее правило: шпага – оружие храброго и благородного; шпага – драгоценнейшее наследие, которое история передает нам от великих людей, прославивших отечество. Говорят – шпага Карломана, шпага Баяра, шпага Наполеона; а слышали ли вы, чтобы кто-нибудь говорил об их пистолетах? Пистолет – оружие разбойника; приставляя пистолет к виску своей жертвы, он заставляет ее подписывать фальшивые векселя; с пистолетом в руке он останавливает дилижанс в чаще леса; пистолетом, наконец, обанкротившийся делец срывает себе череп. Пистолет!.. фи!.. Шпага – другое дело! Это товарищ, поверенный, друг человека; она бережет его честь или мстит за нее.

– Но с этим убеждением, – ответил с улыбкой Альфред, – как вы сами решились два года тому назад стреляться на пистолетах?

– Я – дело другое. Я должен был драться всем, чем бы ни пожелали: я – учитель фехтования; и, притом, бывают обстоятельства, когда нельзя отказываться от условий, которые вам предлагают...

– Я и находился в подобных обстоятельствах, мой милый Гризье, и вы видите, что не худо кончил свое дело.

– Да! С пулей в плече.

– Все ж лучше, нежели с пулей в сердце.

– Можно ли узнать причину этой дуэли?

– Извините меня, мой любезный Гризье, эта история пока еще тайна; но через некоторое время вы все узнаете.

– Полина?... – произнес я тихо.

– Да! – отозвался он.

– Точно ли мы ее узнаем? – спросил Гризье.

– Точно! – ответил Альфред, – и в доказательство я увожу с собой ужинать Александра, которому расскажу все нынешним вечером. Когда не останется препятствий к изданию, вы найдете ее в каком-нибудь томе *повестей*. Потерпите пока.

Гризье пришлось покориться. Альфред увел меня к себе ужинать, как обещал, и рассказал мне историю Полины.

Теперь единственное препятствие к ее изданию исчезло. Мать Полины умерла, и с ней угасли фамилия и имя этой несчастной женщины, приключения которой кажутся невероятными, потому как они совершенно не согласуются со временем и страной, в которых мы живем.

II

– Ты знаешь, – сказал мне Альфред, – что я учился живописи, когда мой добрый дядя умер и оставил мне и сестре моей, каждому, по тридцать тысяч ливров годового дохода.

Я поклонился в знак подтверждения того, что сказал Альфред, и почтения к праху человека, сделавшего такое доброе дело, покидая этот свет.

– С тех пор, – продолжал рассказчик, – я предавался живописи только ради отдыха. Я решил отправиться в путешествие: увидеть Шотландию, Альпы, Италию; я взял у нотариуса свои деньги и отправился в Гавр, чтобы начать свою поездку с Англии.

В Гавре я узнал, что в маленькой деревеньке Трувилль на другой стороне Сены были Дозат и Жаден. Я не хотел покидать Францию, не попрощавшись со своими друзьями, которые также увлекались живописью; я взял пакетбот³ и через два часа был в Гонфлере, а по утру – в Трувиле. К несчастью, они уехали накануне.

Ты ведь знаешь это местечко с его рыбаками. Это один из самых живописнейших уголков Нормандии. Я пробыл там несколько дней, побродил по окрестностям; а вечером, сидя у камина в гостиной моей почтенной хозяйки, госпожи Озере, я слушал рассказы о приключениях довольно странных, которые в продолжение трех месяцев случались в департаментах Кальвадос, Луара и Манш. Речь шла о грабежах, необыкновенно дерзких. Как-то раз нашли возницу: сам он был привязан к дереву, карета его стояла на большой дороге, а лошади спокойно паслись на соседнем лугу. В другой раз, вечером, когда генеральный сборщик податей города Каен давал ужин молодому парижанину по имени Горацио Безеваль и двум его друзьям, приехавшим поохотиться и погостить в замке Бюрс, располагавшемся в пятнадцати лье от Трувиля, разломали его сундук и похитили семьдесят тысяч франков. Наконец другого сборщика податей, из Пон-л'Эвека, что вез в Лизье в казну двенадцать тысяч франков, убили, а тело сбросили в Тук; через некоторое время воды этой маленькой реки вынесли труп на берег – признаки насильственной смерти были налицо. Виновников этого страшного преступления так и не нашли, несмотря на все старания начальников парижской полиции – взбудораженные этими разбоями, они отправили туда своих самых лучших подчиненных.

К этим происшествиям добавились еще и вспыхивавшие то тут то там по неизвестным причинам пожары, которые оппозиционные журналы, однако, приписывали правительству. Вся Нормандия была охвачена ужасом, доселе ей незнакомым. Эта мирная область была известна своими адвокатами и тяжбами, но никак не разбойниками и убийцами. Что касается меня, то я мало верил всем этим историям. Они показались бы мне более правдоподобными в местах, соседствующих с пустынными ущельями Сиерры или дикими скалами Калабрии, а не в богатейших долинах Фалеза и не посреди плодоносных равнин Понт-Одемера, усыпанных деревнями, замками и мызами. Я всегда представлял себе разбойников в лесу или в глубине пещеры. А во всех трех департаментах не было ни одной норы, которая бы хоть отдаленно напоминала пещеру, и ни одной рощи, которая могла бы хоть чем-то походить на лес.

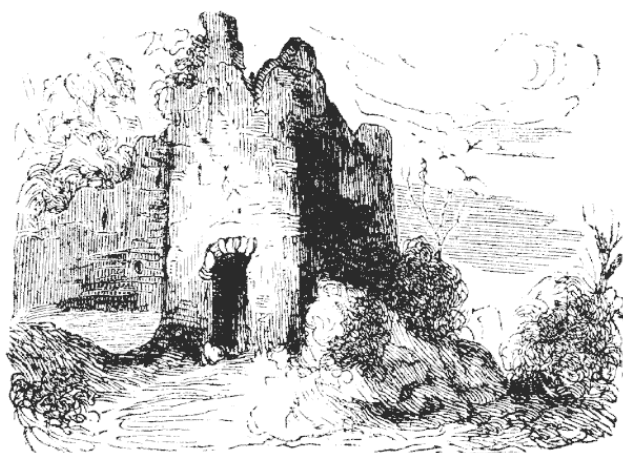
Однако мне пришлось поверить всем этим рассказам, когда на одного богатого англичанина, следовавшего вместе со своей женой из Гавра в Алансон, напали. Он не доехал всего половину лье до Дива, где собирался переменить лошадей. Расправившись с господами, в их карету бросили связанного возницу с кляпом во рту. Лошади, зная дорогу, пришли в Ранвиль и остановились у почтового двора, где пробыли до утра, ожидая, что их распрягут. На другой день конюх, отворив ворота, увидел карету, запряженную лошадьми, в которой вместо пассажира находился бедный возница. Его привели к мэру, и там этот человек рассказал, что его

³ *Пакетбот* – двухмачтовое судно, с помощью которого перевозили почту и пассажиров в некоторых странах в XVIII–XIX веках.

экипаж остановили на большой дороге четыре человека в масках, принадлежавшие, судя по их одежде, к низшему сословию. Они принудили его остановиться и заставили путешественников выйти из кареты; англичанин хотел было защищаться и выстрелил из пистолета; сразу после этого кучер услышал крик и стоны, но так и не посмел обернуться. Впрочем, через минуту после этого ему заткнули рот и бросили в карету, которую лошади привезли к почтовому двору так исправно, как если бы он сам сидел на козлах. Жандармы тотчас бросились к указанному месту и, в самом деле, нашли во рву тело англичанина, дважды пронзенное кинжалом. Что же касается жены его, то не отыскали ни малейших ее следов. Это происшествие случилось не далее как в десяти-двенадцати лье от Трувиля. Тело жертвы перевезли в Каен. Тогда уже я не имел никакой причины сомневаться.

Через три-четыре дня после этого случая, накануне отъезда, я решил в последний раз посетить места, которые собрался покинуть. Я приказал снарядить лодку, которую нанял на месяц, подобно тому как в Париже нанимают карету. Небо было чистым, день обещал быть погожим, так что я велел перенести на нее обед и свои карандаши. Я, заменяя собой весь экипаж, поднял парус.

– В самом деле, – прервал я Альфреда, – мне известна твоя страсть к мореходству, и я припоминаю, как ты совершил свое первое плавание между мостом Тюильри и мостом Согласия на шлюпке под американским флагом.



– Да! – продолжал Альфред, улыбаясь, – но это путешествие должно было стать для меня роковым. Сначала все шло хорошо; у меня была маленькая рыбацья лодка с одним парусом, которой я мог управлять посредством руля. Благодаря попутному ветру, я скользил по морской глади с удивительной быстротой: за три часа я сделал около восьми или десяти лье; потом ветер вдруг стих, и море стало неподвижным. В это время я находился напротив устья Орны. По правую сторону от меня были прибрежные рифы Лангрюна и скалы Лиона, по левую – развалины какого-то аббатства, примыкающие к замку Бюнси. Именно такой вид мне и был нужен: мне оставалось только зарисовать этот пейзаж, чтобы написать картину. Я опустил парус и принялся за работу.

Это занятие так захватило меня, что я потерял счет времени. Очнулся лишь в тот момент, когда ощутил дуновение теплого ветерка – предвестника бури. Я поднял голову. Молния раскроила небо, покрытое облаками, столь черными и плотными, что они казались цепью гор; я понял, что нельзя терять ни минуты. Ветер переменялся, я поднял свой маленький парус и направился вдоль берега к Трувилю, чтобы в случае опасности стать на якорь. Сделав не более четверти лье, я увидел, что парус приник к мачте; тогда я снял его и мачту, не доверяя этой обманчивой тишине. И в самом деле, через минуту я оказался в месте, где сошлись встречные течения, море начало шуметь, раздался удар грома. Этим нельзя было пренебрегать, потому

что буря стала приближаться с быстротой скачущей лошади. Я снял платье, взял в руки весла и начал грести к берегу. Мне оставалось сделать около двух лье, чтобы его достигнуть; к счастью, было время прилива, и, несмотря на то что ветер дул с берега, волны гнали меня к земле. Я греб изо всех сил, но буря все приближалась и наконец настигла меня. Помимо всего прочего, надвигалась ночь, но я еще надеялся добраться до берега, прежде чем наступит совершенная темнота.

Следующий час был ужасен. Лодка моя, столь же легкая, как ореховая скорлупа, покоялась всем волнам и то поднималась, то опускалась на них. Я продолжал грести; но, осознав, наконец, что только зря трачу силы, и предчувствуя, что придется спасаться вплавь, я снял весла с уключин, бросил их на дно лодки возле мачты и паруса. Оставшись только в панталонах и рубашке, я скинул с себя все, что могло бы затруднить мои движения в воде. Два или три раза я был готов броситься в море, но сама легкость лодки спасла меня: она плыла как пробка и не пропускала ни капли воды; только с минуты на минуту я ожидал, что она опрокинется. В какой-то момент мне показалось, что она коснулась дна, но ощущение было таким мимолетным, что я не смел даже на это надеяться. Более того, опустилась темнота, и я не мог ничего различить в двадцати шагах. Я даже не знал, на каком расстоянии от берега нахожусь. Вдруг я почувствовал сильный толчок и на этот раз уже не сомневался, что днище лодки что-то задело. Но был это подводный камень или песок? Между тем новая волна подхватила лодку, и несколько минут она неслась с невероятной быстротой; но вот лодку подбросило с такой силой, что когда волна отхлынула, киль сел на мель. Не теряя времени даром, я схватил сюртук, выпрыгнул через борт лодки, оставив в ней все прочее. Вода доходила только до колен, и прежде чем новая волна настигла меня, я уже стоял на берегу.

Я накинул на плечи сюртук и быстро пошел вперед. Вскоре я почувствовал, что иду по тем округлым камням, которые называют голышами и которые показывают пределы прилива. Я продолжал идти еще некоторое время, и теперь уже под ногами у меня была высокая трава, растущая на песчаных буграх. Тут мне уже нечего было опасаться, и я остановился.

Великолепное зрелище представляет собой бурлящее море, когда его освещают вспышки молний. Это первообраз хаоса и разрушения; это единственная стихия, которой Бог дал право восставать против него, вздымая свои волны к его молниям. Море казалось то глубокой бездной, то цепью движущихся гор, с вершинами, слившимися с облаками и долинами. При каждом ударе грома бледный луч молнии змеился по этим глубинам, по этим вершинам, и наконец исчезал в разверзающихся морских хлябях. Преисполненный ужаса и любопытства, я смотрел на то страшное зрелище, что хотел лицезреть Верне с мачты корабля, к которой велел привязать себя, чтобы запечатлеть в памяти образ стихии. Но никогда кисть человеческая не изобразит ее столь могущественной и страшной, величественной и ужасной. Я пробыл бы, может быть, целую ночь на одном месте, обратившись лишь в зрение и слух, но две крупные дождевые капли упали мне на лицо. Ночи стали холодными, хотя не было еще и середины сентября. Я мысленно искал место, где можно было бы укрыться от дождя, и вспомнил о развалинах, которые заметил с моря. Они должны были находиться поблизости. Я пошел вперед и вскоре очутился на небольшой площадке; через некоторое время я заметил, что недалеко от меня что-то чернеется. Я не мог различить, что именно это было, но оно вполне могло послужить мне убежищем. Наконец блеснула молния, и я узнал полуразрушенную паперть церкви. Я вошел внутрь, нашел место, наименее пострадавшее от разрушения, и сел в углу за столбом, думая дожидаться там утра. Не зная берега, я не решался отправиться на поиски жилища в такое время. Впрочем, когда я охотился в Вандее и в Альпах, я провел двадцать ночей гораздо хуже той, что меня, по всей видимости, ожидала; меня беспокоило только одно: известное ворчание желудка, напоминавшего о том, я ничего не ел с десяти часов утра. Вдруг я вспомнил, что просил госпожу Озере положить что-нибудь в карманы моего сюртука. Я засунул в них руки. Добрая хозяйка исполнила мою просьбу: в одном кармане я нашел ломоть хлеба, в другом –

целую бутылку рома. При таких обстоятельствах это был достойный ужин. Едва я закончил скромную трапезу, как почувствовал приятную теплоту, распространявшуюся по всему телу, начинавшему уже замерзать. Мысли мои, принявшие мрачное направление, оживились, как только горло мое оросила живительная влага. Из-за усталости меня стало клонить в сон. Завернувшись в сюртук, я прислонился к столбу и скоро заснул под шум морских волн, разбивавшихся о берег, и свист ветра, гулявшего по развалинам.

Я проспал около двух часов, когда меня разбудил шум: это дверь скрипела на петлях и ударялась о стену. Очнувшись от беспокойного сна, я открыл глаза и в ту же минуту встал, предусмотрительно скрываясь за столбом. Внимательно посмотрел вокруг, но ничего не увидел; однако не оставил своих предосторожностей, так как был совершенно убежден в том, что слышал шум и что грезы сновидения не обманули меня.

III

Буря утихла, но небо было еще в черных тучах. Через маленькие просветы между ними порой пробивался лунный свет. В одну из таких минут я взглянул на ту дверь, которую, как мне казалось, отворяли, и осмотрелся вокруг. Насколько я мог видеть в темноте, я находился среди развалин древнего аббатства. Судя по уцелевшим остаткам, это была часовня. Справа и слева от меня тянулись два монастырских коридора с полукруглым и низким сводом. Напротив, в высокой траве, плашмя лежало несколько разбитых камней, обозначающих небольшое кладбище. Сюда, наверное, когда-то приходили обитатели этого монастыря, чтобы наполнить свои души покоем и помолиться у креста, который стоял теперь весь обезображенный, без распятия, но все же стоял.

– Ты знаешь, – продолжал Альфред, – все по-настоящему храбрые люди согласятся с тем, что физические предметы имеют неограниченную власть над впечатлениями души. Вчера я спасся от бури, весь замерзший, добрал до заброшенных развалин, заснул крепким сном и проснулся от странного шума; наконец, пробудившись, я очутился на том самом месте, где могли орудовать воры и разбойники, которые вот уже два месяца разоряли Нормандию. Совершенно один, без оружия и, как я сказал тебе, в одном из тех состояний ума, когда предшествующие обстоятельства мешают собраться с духом. Итак, ты не удивишься, что эти рассказы у камина пришли мне теперь на память, и что я остался неподвижно стоять у столба, вместо того чтобы опять лечь и попытаться заснуть. Впрочем, убеждение мое в том, что меня разбудил шум, который произвел человек, было так велико, что, вглядываясь в темноту коридоров и в более освещенное кладбище, я беспрестанно думал о двери, углубленной в стену, в которую, я в этом не сомневался, кто-то вошел. Не раз мне хотелось подойти туда и прислушаться, чтобы развеять свои сомнения, но для этого нужно было пересечь открытое пространство, освещаемое луной. Кроме того, кто-то еще мог скрываться в этом монастыре так же, как и я. Через четверть часа все опять стихло, так что я решился воспользоваться минутой, когда облако вновь закроет луну, чтобы преодолеть пространство в пятнадцать-двадцать шагов, отделявшее меня от этого углубления, и приложить ухо к двери. Эта минута не замедлила наступить: луна вскоре скрылась, тьма сделалась кромешная, и я надеялся без всякой опасности осуществить свое намерение. Я медленно отодвинулся от столба, к которому оставался все это время прикованным, словно готическая статуя. Переходя от одной колонны к другой, затаив дыхание и на каждом шагу прислушиваясь, я достиг стены коридора. Затем прокрался вдоль нее и наконец пришел к ступеням, ведущим под свод, потом сделал три шага вниз и припал к двери.

Я простоял там минут десять, но ничего подозрительного не услышал. Мало-помалу во мне стали зарождаться сомнения: может, сновидение обмануло меня, и я – единственный обитатель этих развалин. Я хотел уже пойти назад, но тут из-за туч выглянула луна и осветила открытое место, которое мне надо было пересечь. Несмотря на это, я решился уже идти, как вдруг со свода сорвался камень и упал вниз. Раздавшийся шум заставил меня содрогнуться и еще на минуту остаться в тени свода, нависшего над моей головой. Вдруг позади, где-то вдалеке, раздался продолжительный стук. Казалось, будто в глубине подземелья кто-то запирает дверь. Вскоре послышались чьи-то шаги: кто-то явно поднимался по той самой лестнице, на ступенях которой я стоял. В эту минуту луна опять скрылась. Одним прыжком я очутился в коридоре; и, не поворачиваясь спиной к двери, вперившись взглядом в углубление в стене, я ощупью пробрался к своему укрытию – столбу – и занял прежнее место. В следующий миг я услышал тот же стук, который разбудил меня; дверь отворилась и опять затворилась; потом показался человек. Он наполовину оставался в тени, пока не осмотрелся вокруг. Убедившись в том, что все спокойно, этот человек вошел в коридор и направился в сторону, противоположную той, где находился я. Он не сделал еще и десяти шагов, как я потерял его из виду –

такая непроглядная была тьма. Но тут опять показалась луна, и в конце небольшого кладбища я увидел таинственного незнакомца с заступом в руках. Он поднял им землю два или три раза и бросил некий предмет в выкопанную им ямку. Чтобы не оставлять следов, этот человек положил на это место могильный камень, который, по всей видимости, откуда-то принес. Вновь осмотревшись, таинственный незнакомец поставил заступ к соседней колонне и скрылся под сводом.

Все происходило очень быстро и достаточно далеко от меня, однако я успел разглядеть незнакомца: это был белокурый молодой человек среднего роста, лет тридцати. Он был одет в простые панталоны из голубого полотна, подобные тем, которые обыкновенно носят крестьяне в праздничные дни. Однако он не принадлежал к простолюдинам, как это можно было заключить по его одежде. Выдавала его одна вещь – охотничий нож, висевший у него на поясе и блестевший при свете луны. Что же касается лица этого молодого человека, то его трудно было описать, однако я разглядел его так хорошо, что мог узнать, если бы мне пришлось с ним встретиться.

Одной только этой странной сцены было достаточно, для того чтобы изгнать на остаток ночи не только всякую надежду на сон, но даже мысль о нем. И так я стоял, по-прежнему не чувствуя усталости, погруженный в мысли, противоречащие друг другу. Я твердо решил проникнуть в эту тайну, но тогда сделать это было невозможно: я не имел ни оружия, ни ключа от этой двери, ни инструмента, которым бы мог отпереть ее. И еще я подумал, не лучше ли будет рассказать кому-нибудь о том, что я видел, а не самому пускаться в приключение, в конце которого, как и Дон-Кихот, мог встретить ветряную мельницу?

Небо начинало светлеть, и я направился к той паперти, с которой вошел внутрь, и через минуту уже очутился на склоне горы. Сплошной туман стоял над морем. Я вышел на берег и стал ждать, когда он рассеется. Через полчаса взошло солнце, и его первые лучи разогнали туман, покрывавший море, еще свирепое после вчерашней бури.

Я надеялся найти свою лодку, которую морской прилив должен был выбросить на берег. И в самом деле, я заметил ее, лежавшую между камнями, и пошел к ней. Но я один не мог столкнуть лодку в воду, да и борт ее разбился о скалы. Нечего было и надеяться возвратиться на ней в Трувиль. К моему счастью, не прошло и получаса, как вдалеке я увидел судно. Вскоре оно подошло ближе, на расстояние, с которого меня могли услышать. Я замахал руками и закричал. Меня заметили, и судно причалило к берегу; я перенес на него мачту, парус и весла, которые мог унести новый прилив. Лодку я оставил до приезда хозяина, чтобы он решил, годится ли она еще на что-нибудь, и тогда уже расплатиться с ним за ее починку или же за всю целиком. Рыбаки, встретившие меня как нового Робинзона Крузо, были также из Трувиля. Они узнали меня и очень обрадовались, что я остался жив. Накануне рыбаки видели, как я отправился в море, и, зная, что я еще не вернулся, сочли меня утонувшим. Я рассказал им о своем кораблекрушении, поведал о том, как провел ночь и, в свою очередь, спросил, как называются развалины, возвышавшиеся на вершине холма. Они ответили мне, что это бывшее аббатство Гран-Пре, лежащее возле парка замка Бюрс, в котором живет граф Гораций Безеваль.

Во второй раз имя это, произнесенное при мне, заставило мое сердце содрогнуться. Граф Гораций Безеваль был мужем Полины Мельен.

– Полины Мельен? – вскрикнул я, прерывая Альфреда. – Полины Мельен?.. – Я все вспомнил... Так вот кто эта женщина, которую я видел с тобой в Швейцарии и в Италии! Мы были с ней вместе у княгини Б., герцога Ф., госпожи М... Как же я не узнал ее! Но она была такой бледной и изнуренной... О! Эта женщина прелестна, мила, образованна и умна!.. У нее такие прекрасные черные волосы и взгляд – приятный и преисполненный достоинства! Бедное дитя!.. Бедное дитя!.. О! Я помню ее и узнаю теперь!

– Да! – тихо сказал Альфред, и голос его дрогнул. – Да! Это она... Она тоже тебя узнала, поэтому и убегала с таким старанием. Это создание – ангел красоты, очарования и кротости, ты знаешь это, ведь вы не раз виделись. Но ты не знаешь, что я любил ее тогда всей душой, и верно бы решился просить ее руки, если бы имел такое состояние, как теперь. Я не сделал этого лишь потому, что был беден по сравнению с ней. Я понял тогда, что если буду продолжать видеться с ней, то поставлю на карту все свое будущее счастье против одного презрительного взгляда или унижительного отказа. Я уехал в Испанию, и когда был в Мадриде, узнал, что Полина Мельен вышла замуж за графа Горация Безеваля.

Новые мысли, возникшие у меня при имени, произнесенном рыбаками, постепенно изгладили в моей памяти впечатление от минувшей ночи. Кроме того, теперь стоял день, светило солнце, и это странное происшествие, так сильно выбивавшееся из нашей обычной жизни, казалось уже чем-то неправдоподобным, похожим на сон. Желание донести о случившемся совершенно исчезло, но где-то в глубине души осталось стремление объяснить все это самому себе. Помимо всего прочего, я упрекал себя за минутный ужас, который овладел мной в ту ночь, и мне хотелось реабилитировать себя.

Я приехал в Трувиль к одиннадцати часам утра. Все мне были рады. Меня уже считали утонувшим или убитым и радовались тому, что я отделался одной только легкой слабостью. В самом деле, я падал от усталости и тотчас лег в постель, приказав разбудить себя в пять часов вечера и приготовить лошадей, чтобы ехать в Пон-л'Эвек, где собирался остаться на ночь. Приказания мои были в точности исполнены, и к восьми часам я добрался до пункта назначения. На следующий день, в шесть часов утра, взяв почтовую лошадь и проводника, я верхом поехал в Див. Из этого города я хотел отправиться, как бы для прогулки, к морскому берегу, где находились развалины аббатства Гран-Пре. Днем я думал посетить эти места, как простой любитель пейзажей, и хорошо изучить их, чтобы вернуться туда ночью. Непредвиденный случай разрушил мои планы и привел к цели другой дорогой.

Когда я приехал в Див, к содержателю почтового двора, который в то же время был и мэром, то нашел у его ворот жандармов и взволнованных горожан. Все говорили о новом преступлении, совершенном с небывалой дерзостью. Графиню Безеваль, приехавшую несколько дней назад из Парижа, убили в парке ее замка, где жил граф и двое или трое из его друзей. Понимаешь ли ты?.. Полина, женщина, которую я любил, от одного воспоминания о которой трепетало мое сердце, была убита... Убита ночью, в парке своего замка, в то время как я находился в развалинах аббатства по соседству, в пятистах шагах от нее! Это было невероятно... Но вдруг это видение, эта дверь, этот человек возникли в моей памяти. Я хотел уже обо всем этом объявить, но какое-то необъяснимое предчувствие не дало мне сделать этого. Я сам еще ни в чем не был уверен и решился ничего не открывать до тех пор, пока сам все не разужнаю.

Жандармы, которых уведомили о происшествии в четыре часа утра, приехали искать мэра, мирового судью и двух медиков, чтобы составить протокол. Мэр и мировой судья были готовы ехать, но один из медиков отлучился по делам и не мог приехать. Я брал для живописи несколько уроков анатомии и решился назвать себя учеником врача. Меня взяли, так как на лучшее рассчитывать не приходилось, и мы отправились в замок Бюнси. Все это я делал, следуя какому-то инстинкту. Я хотел видеть Полину, прежде чем крышка гроба закроется над ней, а, может, повиновался внутреннему чувству, возникшему у меня по какому-то наитию.

Мы прибыли в замок. Граф с утра уехал в Каен, чтобы просить у префекта позволения перевезти тело в Париж, где находился фамильный склеп, и воспользовался для этого тем временем, когда правосудие приступило к исполнению печальных формальностей, столь тягостных для любящего сердца.

Нас принял один из друзей графа и проводил в комнату графини. Я с трудом стоял: ноги мои подгибались, сердце сильно билось; я был бледен как и жертва, нас ожидавшая. Мы вошли в комнату; она еще была наполнена запахом жизни. Бросив на постель испуганный взор, я увидел там что-то подобное человеческому телу, закрытое простыней; тогда я почувствовал, что вся твердость моя исчезает, и прислонился к двери. Медик подошел к постели с удивительным спокойствием и тем непостижимым бесчувствием, которое дает привычка. Он поднял простыню, покрывавшую труп, и открыл лицо умершей. Тогда мне показалось, что я брежу или околдован: этот труп, распростертый на постели, не был телом графини Безеваль; убитая женщина, в смерти которой мы приехали удостовериться, не была Полиной!..

IV

Это оказалась белокурая женщина с ослепительно белой кожей, голубыми глазами и прелестными и аристократическими ручками; женщина молодая и прекрасная, но не Полина!

Женщину ранили в правый бок: пуля прошла между ребрами и попала в сердце, так что смерть настигла ее в то же мгновение. Все это было так странно, что я начинал теряться в догадках и не знал, на чем остановить свои подозрения. Единственное, что я мог утверждать наверняка, что это не Полина, что муж объявил ее умершей, и что под ее именем хотели похоронить другую женщину.

Не знаю, насколько я был полезен во время этой медицинской процедуры; не знаю даже, что подписал в протоколе; к счастью, доктор из Дива, желая, без сомнения, продемонстрировать свое преимущество перед учеником и превосходство провинции перед Парижем, взял на себя весь труд и потребовал от меня одной лишь подписи. Все это заняло около двух часов; потом мы прошли в столовую, в которой для нас была приготовлена закуска. Товарищи мои сели за стол, а я прислонился головой к окну, выходившему во двор. Я простоял так с четверть часа, когда человек на лошади, весь покрытый пылью, проскакал во весь опор во двор. Всадник бросил лошадь, нисколько не беспокоясь о том, позаботится ли кто о ней, и вбежал на крыльцо. Одно удивление сменяло другое! Я узнал этого человека, несмотря на то что теперь на нем был совсем другой костюм. Я видел его лишь несколько минут, но это был тот самый человек, за которым я наблюдал вчера среди развалин. Это он выходил из подземелья, на нем были голубые панталоны, у него были заступ и охотничий нож. Я подозвал слугу и спросил у него имя приехавшего. «Это господин наш, – ответил он, – граф Безеваль, вернулся из Каена. Он ездил просить позволения перевезти тело». Я спросил тогда, как скоро его хозяин хочет отправиться в Париж? «Сегодня вечером, – сказал слуга, – потому что фургон, который должен везти тело графини, уже готов, и почтовые лошади затребованы к пяти часам». Выходя из столовой, мы услышали стук молотка: это столяр заколачивал гроб. Все шло по заведенному порядку, но слишком поспешно, как ты видишь.

Я вернулся в Див, в три часа был в Пон-л'Эвеке, а в четыре – в Трувиле.

Я решился осуществить свое намерение в ту же ночь и, если моя попытка не увенчается успехом, на следующий день предать все огласке и оставить это дело полиции.

Приехав, я сразу же взял лодку и двух матросов в сопровождающие. Потом прошел в свою комнату, заткнул пару превосходных дуствольных пистолетов за дорожный пояс, на котором уже висел охотничий нож, застегнулся, чтобы скрыть от хозяйки эти страшные приготовления, велел перенести на лодку заступ и лом и сел в нее с ружьем: будто еду охотиться.

На этот раз ветер был попутный; меньше чем через три часа мы оказались в устье Дива. Я приказал матросам подождать до тех пор, пока наступит ночь; потом, когда окончательно стемнело, мы направились к берегу и пристали.

Тогда я отдал им последние распоряжения: ждать меня в ущелье скалы, спать по очереди и быть готовыми отплыть по первому моему сигналу. Если не вернусь к утру, они должны поехать в Трувиль и вручить мэру запечатанный конверт. В нем было письмо, где я описал подробности предпринятой мной поездки, а также изложил сведения, которые помогли бы найти меня – живого или мертвого.

Итак, я повесил через плечо ружье, взял лом, заступ и огниво, чтобы в случае необходимости высечь огонь, и попытался найти ту самую дорогу, по которой шел во время первого своего путешествия. Отыскав ее, преодолел гору; всходящая луна осветила развалины старинного аббатства. Я миновал паперть и вновь очутился в часовне.

И в этот раз мое сердце билось учащенно – но больше от ожидания, чем от ужаса. У меня было время утвердиться в своем намерении; мною двигал не сиюминутный порыв, кото-

рый вызывает мгновенную храбрость, а нравственные убеждения, порождающие разумную, но неизменную решительность.

Подойдя к столбу, у которого спал, я остановился, чтобы осмотреться. Вокруг была тишина, до меня не доносилось ни единого звука, кроме шума морских волн. Я решил делать все по порядку и сначала копать в том месте, где граф Безеваль – я был убежден, что это был он, – зарыл предмет, который я не смог разглядеть. Итак, я оставил лом и факел у столба, взял ружье, чтобы защитить себя в случае нападения, и пошел по коридору с его мрачными сводами и у одной из колонн, которые поддерживали эти своды, обнаружил заступ. Взяв его, постоял минуту. Убедившись, что я один, решился действовать: направился к месту, где видел графа, поднял камень, как сделал тот, и увидел недавно вскопанную землю. Положил ружье на землю, копнул заступом и наткнулся на блестящий ключ; забрав его, заполнил ямку землей, положил сверху камень, поднял ружье, отнес заступ туда, где нашел его, и остановился на минуту, чтобы привести в порядок мысли.

По всей видимости, это был ключ от двери, из которой тогда вышел граф, поэтому я спрятал лом за колонной и взял только факел. Подойдя к двери, утопленной в стену, и спустившись к ней по трем ступенькам, я примерил ключ к замку – на втором обороте замок открылся. Я хотел уже запереть за собой дверь, как вдруг мне пришла в голову мысль, что какая-нибудь случайность может помешать мне открыть ее ключом на обратном пути. Я вернулся за ломом, спрятал его на лестнице, в темном углу между четвертой и пятой ступенями и только потом запер за собой дверь. Оказавшись в крошечной темноте, зажег факел, и подземелье осветилось.

Я увидел проход шириной не больше пяти-шести футов; стены и свод его были каменные; передо мной висела лестница в двадцать ступеней. Спустившись по ней, я продолжал идти вниз по проходу, который все больше и больше углублялся в землю. Затем я заметил впереди вторую дверь. Подойдя, приложил к ней ухо, однако ничего не услышал. Тогда я попробовал отпереть ее тем же ключом – замок поддался. Я вошел, не запирая за собой дверь, и очутился в подземелье, где прежде погребали настоятелей аббатства – простых монахов хоронили на кладбище.

Очевидно, мое путешествие близилось к концу. Я твердо решил исполнить свое намерение, однако, – с волнением в голосе продолжал Альфред, – эти места, как ты понимаешь, произвели на меня гнетущее впечатление. Я положил руку на лоб, покрытый испариной, и попытался собраться с духом. Что я здесь найду? Наверное, какой-нибудь надгробный камень, положенный дня три назад... И тут я содрогнулся: мне показалось, что я слышал стон.

Мое оцепенение как рукой сняло; я быстрым шагом пошел вперед. Стон раздался еще раз – на этот раз отчетливее, и я бросился в ту сторону, откуда он доносился. Я заглядывал в каждый темный угол, каждую впадину, но ничего не видел, кроме надгробных камней с именами усопших. Наконец, добравшись до самого дальнего надгробия, я заметил женский силуэт. Женщина сидела в углу, за решеткой, сложив руки и закрыв глаза, с клоком своих волос во рту. Возле нее на камне лежало письмо, стояли погасшая лампа и пустой стакан.

Может быть, я опоздал и она умерла? Я бросился к решетке – заперта, примерил ключ – не подходит.

Услышав шум, женщина открыла глаза, в которых проглядывало безумие, судорожно откинула волосы, закрывавшие ее лицо, и вдруг поднялась. Я вскрикнул и позвал ее: «Полина!»

Женщина бросилась к решетке и упала на колени, издав вопль, полный страдания.

– О! Заберите меня отсюда... Я ничего не видела... ничего не скажу! Клянусь своей матерью!..

– Полина! Полина! – повторял я, взяв ее за руки через решетку. – Я пришел к вам на помощь, пришел спасти вас!

– Спасти меня... – пробормотала она, поднимаясь с колен. – Спасти меня... спасти меня... да, спасти меня! Откройте эту дверь... откройте ее сейчас же; пока она не будет

отперта, я не поверю тому, что вы сказали!.. Именем Господа умоляю вас, отойдите от двери! – И она затрясла решетку с почти нечеловеческой силой.

– Остановитесь, остановитесь! – закричал я. – У меня нет ключа от этой двери, но есть средство отворить ее. Я сейчас вернусь...

– Не оставляйте меня! – Она с невероятной силой сжала мою руку через решетку. – Не оставляйте меня, иначе я больше вас не увижу!

– Полина! – сказал я, поднося факел к своему лицу. – Вы не узнаете меня? Взгляните на меня и скажите: могу ли я оставить вас?

Полина устремила на меня потерянный взгляд своих черных глаз; на мгновение пришла в растерянность, потом воскликнула: «Альфред де Нерваль!..»

– Благодарю вас, – ответил я, – мы с вами не забыли друг друга. Да, это я, который так вас любил и все еще любит. Теперь вы верите мне?

Бледное лицо Полины внезапно залилось краской стыда. Она отпустила мою руку.

– Надолго ли вы уйдете? – спросила она.

– На пять минут.

– Идите, но умоляю, оставьте мне факел: темнота убьет меня.

Я отдал ей факел; просунув лицо меж прутьев решетки, она следила за мной взглядом. Я поспешил осуществить задуманное. Проходя первую дверь, обернулся – Полина стояла в том же положении: неподвижная как статуя, с факелом в мраморно-белой руке.

Пройдя двадцать шагов, я нашел лестницу, а на четвертой ступеньке оставленный мною лом, и тотчас вернулся. Увидев меня, Полина издала радостный крик. Я бросился к решетке.

Замок оказался так крепок, что я переключился на петли и принялся выбивать из-под них камни. Полина светила мне факелом. Через десять минут петли подались – я потянул их и вынул решетку. Полина упала на колени: теперь она была свободна! Я вошел к ней; она вдруг резко обернулась, схватила с камня развернутое письмо и спрятала его на груди. Внезапно я вспомнил о пустом стакане; с беспокойством схватив его, увидел на дне белый осадок.

– Что было в этом стакане? – спросил я, испугавшись.

– Яд! – ответила она.

– И вы его выпили?

– Откуда я могла знать, что вы придете! – сказала Полина, опираясь на решетку. Она и забыла, что осушила этот стакан за час или два до моего прихода.

– Вам плохо?

– Нет еще...

– Давно ли был яд в этом стакане?

– Около двух суток. Впрочем, я не могу точно назвать время...

Я снова заглянул в стакан; осадок на дне немного успокоил меня: за двое суток яд мог разложиться. Полина выпила отравленную воду, но, может быть, концентрация яда в ней была уже несмертельной.

– Нам нельзя терять ни минуты, – сказал я, схватив ее за руку. – Надо бежать и искать помощи.

– Я могу идти сама! – Она отняла у меня руку, и ее лицо снова залилось стыдливым румянцем.

В ту же минуту мы направились к первой двери – я запер ее за собой, потом достигли второй и, открыв ее ключом, мы вышли в монастырь. На небе блеснула луна. Полина подняла руки и упала на колени.

– Пойдем, пойдем! – торопил ее я. – Каждая минута на счету!

– Мне нехорошо, – сказала она, вставая.

Холодный пот выступил у меня на лбу; я взял ее на руки, как ребенка, выбежал из монастыря и, спустившись с горы, увидел огонь, который разложили мои люди.

– В море, в море! – закричал я что есть силы.

Матросы поняли, что дело не терпит промедления, кинулись к судну, подтащили его как можно ближе к берегу; я вошел в воду по колено, передал им Полину и сам запрыгнул в лодку.

– Вам хуже? – спросил я.

– Да! – слабо отозвалась она.

Я был в отчаянии: я не мог ей помочь. Вдруг я вспомнил о морской воде; я наполнил ею раковину, которую нашел в лодке, и подал Полине.

– Выпейте, – сказал я.

Она повиновалась.

– Что вы делаете? – возмутился один из рыбаков. – Ее же стошнит!

Этого я и желал: только это могло спасти ее. Минут через пять Полина почувствовала сильнейшие спазмы: за три дня в ее желудок не попадало ничего, кроме яда. Когда приступ рвоты прошел, ей стало легче; тогда я дал ей стакан чистой, свежей воды, которую она с жадностью выпила. Вскоре боль отступила – за ней последовало совершенное изнеможение. Мы сняли с себя верхнюю одежду и сделали из нее постель. Полина послушно легла на нее и тотчас закрыла глаза; с минуту я прислушивался к ее дыханию: она дышала часто, но ровно. Опасность миновала.

– Теперь в Трувиль! – весело сказал я матросам. – И как можно скорее: я дам вам двадцать пять луидоров по прибытии!

Мои честные рыбаки, решив, что паруса недостаточно, тут же бросились к веслам, и судно полетело по воде, как птица.

V

Полина открыла глаза, когда мы подходили к пристани; сначала ее охватил ужас; она думала, что видит сон, и протянула руки, как будто желая увериться, что они не наткнутся на стены подземелья; потом посмотрела вокруг с беспокойством.

– Куда вы везете меня? – спросила она.

– Успокойтесь, – ответил я ей, – эти строения, которые вы видите, всего лишь обыкновенная бедная деревушка; обитатели ее слишком заняты, чтобы быть любопытными, и вы останетесь здесь инкогнито столько, сколько захотите. Впрочем, если вы намерены куда-то ехать, скажите мне только куда, и я завтра, сегодня, сию же минуту уеду с вами, чтобы защищать вас.

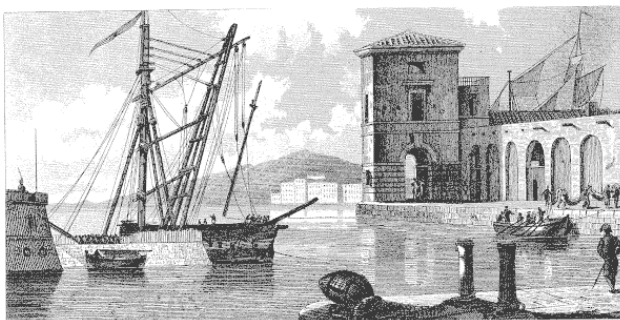
– А если я захочу уехать из Франции?

– Я буду сопровождать вас везде!..

– Благодарю! – сказала она. – Дайте мне только с час подумать об этом. Теперь голова моя и сердце больны, силы истощены, и мысли беспорядочны... Кажется, я близка к помешательству.

– Я исполню вашу волю. Когда захотите меня видеть, велите позвать.

Она знаком поблагодарила меня. В эту минуту мы подъехали к гостинице. Я велел приготовить комнату, в части дома совершенно отдельной от той, где жил сам, чтобы не дать Полине никакого повода к сомнению; потом приказал хозяйке подавать ей один только бульон, потому что всякая другая пища могла оказаться опасной в том состоянии раздражения и слабости, в котором находился желудок больной. Отдав эти приказания, я вернулся в свою комнату.



Там я мог целиком отдаться чувству радости, которое наполняло мою душу и которого я не смел показывать перед Полиной... Я спас ту, которую все еще любил; воспоминание о ней, несмотря на двухлетнюю разлуку, жило в моем сердце; я спас ее, она обязана мне жизнью. Я удивлялся тому, какими запутанными дорогами случай или Провидение привели меня к этой женщине. И вдруг почувствовал смертельный холод в жилах, подумав, что если бы не возникло одного из этих маленьких обстоятельств или незначительных происшествий, образовывавших путеводную нить, по которой я шел в этом лабиринте, то в этот самый час Полина страдала бы в подземелье. Она ломала бы руки, билась бы в конвульсиях от яда или голода; между тем как я, в своем неведении, занятый каким-нибудь вздором или, может быть, развлечением, оставил бы ее погибать, – и ни один вздох, ни одно предчувствие, ни один голос не сказали бы мне: она умирает, спаси ее... Об этом страшно было даже подумать, такие размышления наводили на меня смертельный ужас. Правда, нет ничего более утешительного, чем эти мысли: исчерпав все сомнения, они приводят нас к вере, которая вырывает мир из рук слепого случая, чтобы возвратить его Провидению Божьему.

Я пробыл с час в таком положении и клянусь тебе, – продолжал Альфред, – ни одна нечистая мысль не родилась в моем уме или сердце. Я был так счастлив, так гордился, что спас ее. Этот поступок стал мне наградой, и я не хотел другой после того, как имел счастье совершить такое. Через час Полина велела позвать меня. Я в то же мгновение встал и бросился к ее комнате; но у двери силы меня оставили, и мне пришлось прислониться на минуту к стене. Горничная пришла опять и пригласила меня войти, и тогда уже я превозмог свое волнение.

Она лежала в постели, однако одетая. Я подошел к ней, сохраняя внешнее спокойствие; она протянула мне руку.

– Я вас еще не поблагодарила, – сказала Полина. – Простите меня, я не могу найти слов, которые выразили бы мою благодарность. Примите во внимание также весь ужас того положения, в котором я находилась, пока вы не нашли меня, и простите.

– Выслушайте меня, – проговорил я, стараясь умерить свое волнение, – и поверьте тому, что я вам сейчас скажу. Бывают ситуации столь неожиданные, столь странные, что они заставляют забыть нас о всех нормах и принятых условностях. Бог привел меня к вам, и я благодарю Его; но надеюсь, что поручение мое еще не исполнено и, может быть, вы еще нуждаетесь во мне. Итак, выслушайте меня и взвесьте каждое мое слово.

Я свободен... богат... ничто не привязывает меня к одному месту, так же, как и к другому. Я думал путешествовать, собирался отправиться в Англию без всякой цели; теперь же могу изменить свой путь и ехать туда, куда случай направит меня. Может быть, вам надо оставить Францию. Не знаю ничего, не требую от вас ни одной вашей тайны и ожидаю, когда вы позволите мне сделать предположение. Но останетесь вы во Франции или покинете ее, прошу вас, располагайте мной как другом или братом. Прикажете, чтобы я сопровождал вас или следовал за вами издали; сделаете меня открыто вашим защитником или потребуете, чтобы я притворялся, будто не знаком с вами, – я исполню это в ту же минуту, но, поверьте мне, я сделаю это без задней мысли, без эгоистичной надежды и без дурного намерения. Теперь позабудьте о вашем возрасте и моем и предположите, что я брат ваш.

– Благодарю! – сказала графиня с глубокой признательностью. – Принимаю предложение с доверием, равным вашей откровенности; полагаюсь совершенно на вашу честь, потому что вы один остаетесь мне в целом свете; вы один знаете, что я существую.

Да! Предположение ваше справедливо: я должна оставить Францию. Вы поедете в Англию и проводите меня туда; но я не могу появиться там одна и без семьи; вы предлагаете мне имя вашей сестры; впредь для всего света я буду девицей де Нерваль.

– О! Как я счастлив! – вскрикнул я...

Но тут графиня сделала мне знак выслушать ее.

– Я потребую от вас больше, нежели вы, может быть, думаете; я также была богата, но мертвые ничем не владеют.

– Но я богат – все состояние мое...

– Вы не понимаете меня и, не дав договорить, заставляете краснеть.

– Простите!

– Я буду девицей де Нерваль, дочерью вашего отца, сиротой, порученной вам. Вы должны иметь рекомендательные письма и представить меня, как учительницу, в какой-нибудь пансион. Я говорю на английском и итальянском языках, как на своем родном; хорошо разбираюсь в музыке, – по крайней мере, мне говорили это прежде, – и буду давать уроки музыки и языков.

– Но это невозможно! – воскликнул я.

– Таковы мои условия, – сказала графиня. – Вы их отвергаете или принимаете?

– Все, что вы хотите; все, все!..

– Итак, нам нельзя терять времени: завтра мы должны отправиться в путь. Это возможно?

– Разумеется.

– Но паспорт?

- У меня есть.
- На имя господина де Нерваля?
- Я прибавлю и имя своей сестры.
- Но вы намерены воспользоваться фальшивым документом.
- Это вполне невинно и безопасно. Неужели вы хотите, чтобы я написал в Париж с просьбой о том, чтобы прислали другой паспорт?..
- Нет, нет... Это повлечет за собой большую потерю времени. Откуда же мы отправимся?
- Из Гавра.
- Как?
- На пакетботе, если вас устроит.
- Когда же?
- Когда вам будет угодно.
- Можем ли мы ехать сейчас же?
- Но не слишком ли вы слабы, чтобы отправляться в путь?
- Вы очень ошибаетесь: я совершенно здорова. Сообщите мне, как только решите отправиться в путь, я буду готова.
- Через два часа.
- Хорошо. Прощайте, брат.
- Прощайте, сударыня!
- А! – возразила графиня, улыбаясь. – Вот вы и изменяете уже нашим условиям.
- Дайте время привыкнуть к этому имени, столь мне приятному.
- Для меня оно разве не столь же приятно?
- О! Вы... – начал я и осекся, поняв, что хочу сказать слишком много. – Через два часа, – повторил я, – все будет готово к отъезду.

Потом я поклонился и вышел.

Не более четверти часа прошло с тех пор, как я искренне выбрал себе роль брата Полины. Я почувствовал всю ее трудность. Называться братом женщины, молодой и прекрасной, – уже трудно; но если вы любите эту женщину, если, потеряв ее, опять находите одинокой и брошенной, не имеющей кроме вас другой опоры; когда счастье, которому вы не смели верить, потому что оно казалось вам сном, оказывается рядом; когда вам достаточно лишь протянуть руку, чтобы прикоснуться к мечте, тогда, несмотря на былые убеждения, несмотря на данное слово, невозможно скрыть в душе своей того, чему изменяют и глаза, и язык.

Я нашел своих гребцов за ужином и чаркой вина и сказал им, что хочу сейчас же отправиться в Гавр, чтобы приехать туда ночью и успеть ко времени отправления пакетбота. Они отказались пуститься в море на том же самом судне и просили всего час времени на приготовление другого, более надежного. Мы тотчас условились о плате или, лучше сказать, они положились на мое великодушие. Я прибавил к тем двадцати пяти луидорам, что они уже получили, еще пять, а за эту сумму они взялись бы доставить меня хоть в Америку.

Потом я пошел осмотреть шкафы моей хозяйки, потому что у графини было только одно платье. Я боялся за нее, еще слабую и больную: ночной ветер и туман могли плохо на нее повлиять. Заметив на одной полке большой шерстяной платок, я взял его и попросил госпожу Озере включить его в мой счет. Благодаря этой шали и моему плащу я надеялся, что спутница моя будет в тепле во время переезда. Полина не заставила себя ждать, и когда узнала, что судно готово, в ту же минуту вышла. Я рассчитался в гостинице, и теперь нам оставалось только дойти до пристани и отправиться в плавание.

Как я и предполагал, ночь была холодна, но вместе с тем тиха и прекрасна. Я накинул шаль на плечи графини и попросил ее войти в палатку, раскинутую нашими рыбаками; но чистое небо и неподвижное море удержали ее на палубе; мы присели на скамейку, один подле другого.

Сердца наши были полны переживаний, так что мы не проронили ни слова. Голова моя склонилась на грудь, и я с удивлением вспоминал о своих недавних приключениях и думал о том, что это еще не конец. Я горел желанием узнать, по каким причинам графиня Безеваль, молодая, богатая, по-видимому, любимая мужем, была заключена в подземелье разрушенного аббатства. Почему кто-то желал ее смерти? Для чего муж Полины распустил слух о ее кончине? Зачем выдавал труп другой женщины за тело своей жены? Не от ревности ли?.. Эта мысль с самого начала представилась уму моему: она была ужасна... Полина любит кого-нибудь!.. Эта мысль разрушала все мои мечты, потому что для этого человека, для своего возлюбленного, она возвращалась к жизни, и где бы она ни находилась, он найдет ее. Я спас ее для другого; она поблагодарит меня как брата и только; этот человек пожмет мне руку и скажет, что обязан мне больше, чем жизнью. Потом они будут счастливы и тем вернее, что останутся в неизвестности... А я! Я возвращусь во Францию, чтобы страдать, как страдал уже тысячу раз, потому что это совершенство, которое я видел издали, приблизилось ко мне, чтобы безжалостно от меня ускользнуть; тогда наступит минута, когда я прокляну тот час, в который спас эту женщину, или пожалею о том, что, мертвая для целого света, она жива для меня, но где-то далеко, рядом с другим... Впрочем, если она виновата, мщение графа справедливо... На его месте... я не оставил бы ее умирать... но наверное... убил бы... ее и человека, которого она любит!.. Полина любит другого!.. Полина виновна!.. О! Эта мысль грызла мое сердце... Я медленно поднял голову; Полина, запрокинув голову назад, смотрела в небо, и две слезы катились по ее щекам.

– Бог мой! Что с вами? – воскликнул я.

– Неужели вы думаете, – сказала она, не меняя положения, – что можно оставить навсегда отечество, семью, мать без того, чтобы сердце не разорвалось на части? Что можно перейти, если не от счастья, то, по крайней мере, от спокойствия к отчаянию без того, чтобы сердце не облилось кровью? Неужели вы думаете, что в мои годы отправляются в плавание, чтобы провести остаток жизни на чужой земле и не смешивают слез с волнами, которые уносят вас далеко от всего, что вы любили?..

– Но разве это навсегда?

– Навсегда! – сказала она, качая головой.

– И вы не увидите никого из тех, о ком плачете?

– Никого.

– И все без исключения никогда не должны узнать о том, что та, которую они считают умершей и о которой сожалеют, живет и страдает?

– Все... навсегда... без исключения...

– О! – вскрикнул я. – Как я счастлив! Какой камень свалился с души моей!..

– Я не понимаю вас, – сказала Полина.

– Вы не знаете, сколько сомнений и страхов пробудилось во мне... Но неужели вы не желаете услышать, что за случай привел меня к вам? Благодаря Небо за свое спасение, вы будете знать, какие средства оно для этого употребило...

– Да, вы правы; брат не должен иметь никаких тайн от сестры... Вы расскажете мне все... и, в свою очередь, я не скрою от вас ничего...

– Ничего... О! Поклянитесь мне... Вы позволите мне читать в вашем сердце как в открытой книге?

– Да... и вы найдете в нем одно несчастье, покорность судьбе и молитву... Но сейчас не время. Я еще так близка ко всем этим страшным событиям, что не имею никаких сил о них рассказывать...

– Я буду ждать сколько потребуется!

Она встала.

– А сейчас мне не помешало бы немного успокоиться, – сказала она. – Вы, кажется, говорили, что я могу спать в этой палатке?

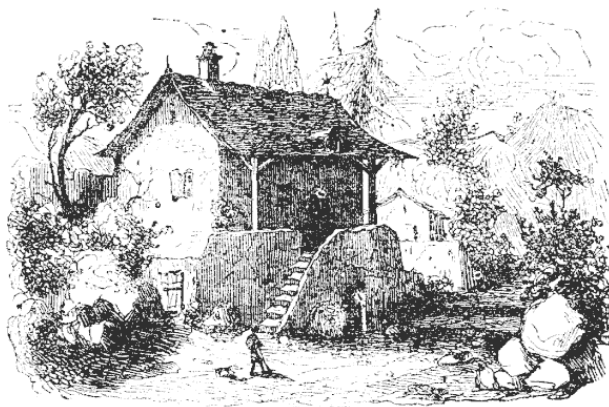
Я проводил ее туда, расстелил свой плащ на полу и вернулся на палубу. Я сел на то самое место, которое занимала Полина, и пробыл там до самого приезда в Гавр.

Следующим вечером мы сели на корабль «Бригтон» и через шесть часов оказались в Лондоне.

VI

Первой моей заботой по приезду стало наше размещение. В тот же день я отправился к банкиру, к которому был аккредитован. Он показал мне небольшой домик с меблированными комнатами, очень удобный для двоих. Я поручил ему совершить сделку и на другой день мне сообщили, что дом в моем распоряжении.

Когда графиня еще спала, я отправился в магазин; тут мне собрали полный комплект белья, довольно простого, но сделанного с большим вкусом; через два часа, помеченное именем Полины де Нерваль, оно было перенесено в спальню той, для которой предназначалось. Потом я зашел к модистке: несмотря на то что она была француженкой, она быстро снабдила меня всем необходимым; что же касается платьев, то, не имея с собой мерки, я взял несколько кусков материи, самых лучших, какие только смог найти, и попросил модистку прислать ко мне в тот же вечер швей.



Вернувшись домой к двенадцати часам, я узнал, что сестра моя проснулась и ждет меня к чаю. Я нашел ее одетой в очень простое платье, которое ей успели сделать за те двенадцать часов, что мы провели в Гавре. Она была прелестна в этом платье!

– Не правда ли, – сказала она, увидев меня, – мое платье вполне подходит моему новому положению, и вас теперь не затруднит представить меня гувернанткой.

– Я сделаю все, что вы прикажете, – кивнул я.

– Но вам не так надобно отвечать: я исполняю свою роль, а вот вы, кажется, забываете о вашей. Братья не должны так слепо повиноваться желаниям сестер, в особенности старшие. Вы изменяете себе, берегитесь.

– Удивляюсь вашему присутствию духа, – сказал я, опуская руки и глядя на нее. – В ваших глазах печаль, потому что вы страдаете душой; на вашем лице бледность, потому что ваше тело истощено... Вы навсегда лишены того, что любили, и имеете силы улыбаться? Нет, лучше плачьте, плачьте! Мне это больше по душе, и это меня не столько печалит.

– Да, вы правы, – отозвалась она, – из меня получится дурная комедиантка. Не правда ли, что за моей улыбкой видны слезы? Но я плакала все то время, пока вас не было, и это облегчило мои страдания. Так что, будь ваш взгляд менее проницательным, брат, менее внимательным, мы могли бы подумать, что я все уже забыла.

– О, сударыня! – воскликнул я с горечью, потому что все мои подозрения вернулись. – Будьте спокойны, я не поверю этому никогда.

– Можно ли забыть мать свою, когда знаешь, что она считает тебя мертвой и оплакивает твою кончину?... О, мать моя, бедная мать! – вскрикнула графиня, не сдерживая больше слез и падая на диван.

– Посмотрите, какой я эгоист, – сказал я, приближаясь к ней, – я предпочитаю слезы улыбке: слезы доверчивы, улыбка скрытна. Улыбка, это покрывало, которым прикрывается сердце, чтобы лгать... Когда вы плачете, мне кажется, что вы нуждаетесь во мне, нуждаетесь в том, чтобы я осушил ваши слезы... Когда вы плачете, я надеюсь, что некогда своей заботой, вниманием, почтением утешу вас. А если вы сейчас утешитесь, то какая надежда мне остается?

– Альфред! – обратилась ко мне графиня с глубоким чувством признательности, впервые называя меня по имени. – Довольно нам обмениваться пустыми словами: с нами произошло столько странных вещей, что нам стоит оставить хитрость и изворотливость. Будьте откровенны, спросите меня о том, что вам хочется знать, и я отвечу вам.

– О, вы ангел! – вскрикнул я. – А я, я – сумасшедший, я не имею права ничего знать, ни о чем спрашивать. Разве я не был счастлив настолько, насколько может быть счастлив человек, когда нашел вас в подземелье; когда, сходя с горы, нес вас на руках своих; когда вы опирались на плечо мое в лодке? Не знаю, но мне бы хотелось, чтобы вам угрожала вечная опасность, чтобы сердце ваше дрожало подле моего. Такое существование было бы непродолжительно... Не более года прошло бы, и сердце разорвалось бы на части. Но какой долгой жизни не променяешь на подобный год? Вы были бы преданы страху, и я один остался бы вашей последней надеждой. Тогда воспоминания о Париже больше не мучили бы вас. Вы не стали бы улыбаться, чтобы скрыть от меня слезы; я был бы счастлив!.. Я не ревновал бы.

– Альфред! – строго сказала графиня. – Вы сделали для меня столько, что я перед вами в долгу. Впрочем, надо страдать, и много, чтобы говорить со мной так. Своими словами вы показываете мне свою забывчивость, напоминаете, что я нахожусь в полной зависимости от вас; вы заставляете меня краснеть за себя и страдать за вас.

– Простите, простите! – воскликнул я, падая на колени. – Но вы знаете, что я любил вас юной девушкой, хотя никогда не говорил вам этого; знаете, что только недостаток состояния препятствовал мне искать руки вашей; знаете еще, что с того времени, как я нашел вас, эта любовь, усыпленная, может быть, но никогда не угасавшая, вспыхнула еще сильнее и ярче, нежели когда-либо прежде. Вы это знаете, ведь нет надобности говорить о подобных чувствах. И что ж? Я страдаю, когда вижу вашу улыбку; страдаю, когда вижу ваши слезы. Когда вы смеетесь, то скрываете от меня что-нибудь; когда плачете – признаетесь мне во всем. Ах! Вы любите, вы сожалеете о ком-нибудь.

– Вы ошибаетесь, – ответила графиня. – Если я любила, то не люблю больше; если жалею, то только о матери.

– Ах, Полина! Полина! – вскрикнул я. – Правду ли вы говорите? Не обманываете ли меня? Боже мой! Боже мой!..

– Неужели вы думаете, что я способна купить ваше покровительство ложью?

– О! Боже меня сохрани! Но что вызвало ревность вашего мужа? Ведь только это одно может привести к подобному злодейству!

– Послушайте, Альфред, я открою вам эту страшную тайну: вы имеете право знать ее. Сегодня вечером вы ее узнаете; сегодня вечером вы прочтете ее в душе моей; сегодня вечером вы будете располагать не только моей жизнью, но честью моей и честью моей семьи; но с одним условием...

– Каким? Говорите, я заранее принимаю его.

– Вы никогда больше не будете говорить мне о своей любви; а я обещаю вам не забывать, что вы меня любите. – Она протянула мне руку; я поцеловал ее с почтением.

– Садитесь, – сказала Полина, – оставим это до вечера... Что вы нынче делали?

– Я занимался поисками небольшого домика, простого и уединенного, в котором вы могли бы быть полной хозяйкой. Вам нельзя оставаться в гостинице.

– И вы нашли его?

– Да! На Пикадилли. Если хотите, мы поедем посмотреть его после завтрака.

– Так берите же скорей вашу чашку.

Мы напились чаю, сели в карету и поехали к домику.

Он был невелик, с зелеными ставнями, с садиком, наполненным цветами, – одним словом, настоящий английский домик в два этажа. Первый этаж предназначался для Полины, а второй – для меня.

Мы вошли в ее покои; они состояли из передней, гостиной, спальни, будуара и кабинета, в котором уже было все, что нужно для музыки и рисования. Я открыл шкафы: в них уже лежало белье.

– Что это? – спросила Полина.

– Когда вы поступите в пансион, – ответил я, – вам это понадобится. Здесь ваши инициалы П. и Н.: Полина де Нерваль.

– Благодарю, брат, – сказала она, пожимая мне руку. Первый раз она обратилась ко мне так после нашего объяснения; но теперь это не показалось мне неприятным.

Мы вошли в спальню; на постели лежали две шляпки, сделанные по последней парижской моде, и простая кашемировая шаль.

– Альфред! – сказала мне графиня, заметив их. – Я должна была одна войти сюда, чтобы найти все эти вещи. Мне стыдно перед вами. Я доставила вам столько хлопот... Да и прилично ли это...

– Вы вернете мне все сторицей, когда получите плату за свои уроки, – прервал я, – брат может давать займы сестре.

– Он может даже дарить ей подарки, если богаче, чем она; и в этом случае тот, кто дарит – счастлив.

– О! Вы правы! – вскрикнул я. – Ни один порыв моего сердца от вас не ускользает... Благодарю... благодарю.

Потом мы прошли в кабинет. На фортепиано лежали новейшие произведения Дюшанжа, Лабарра и Плантада; самые популярные отрывки из опер Беллини, Меербера и Россини. Полина раскрыла одну тетрадь и впала в глубокую задумчивость.

– Что с вами? – спросил я, увидев, что глаза ее остановились на одной странице и что она словно забыла о моем присутствии.

– Странная вещь, – сказала она вслух, отвечая на мой вопрос, – еще неделю назад я пела этот самый романс у графини М.; тогда у меня были семья, имя, жизнь. Прошло несколько дней... и от всего этого не осталось и следа... – Она побледнела и скорее упала, нежели села в кресло. Можно было подумать, что она умирает. Я подошел к ней, она закрыла глаза; я понял, что Полина вся предалась воспоминаниям. Я сел подле нее и, склонив ее голову на свое плечо, сказал:

– Бедная сестра!..

Тогда она начала плакать, но на этот раз это были не рыдания, а тихие и грустные слезы; слезы, которые даруют освобождение, которым необходимо дать волю. Через минуту Полина открыла глаза и улыбнулась.

– Благодарю вас, – произнесла она, – что вы позволили мне поплакать.

– Я не ревную больше, – ответил я.

Поднявшись, она спросила меня:

– Есть ли здесь второй этаж?

– Да, комнаты в нем будут расположены так же, как и здесь.

– Будет ли он занят?

– Это решать вам.

– Надобно принять со всей откровенностью положение, в которое поставила нас судьба. В глазах общества вы брат мой и действительно должны жить в одном доме со мной; и это было бы даже странно, если бы вы стали жить в другом месте. Эти покои будут ваши. Пойдемте в сад.

Сад казался зеленым ковром с корзиной цветов. Мы обошли его два-три раза по песчаной аллее, что опоясывала его. Потом Полина нарвала цветов.

– Посмотрите на эти бедные розы, – сказала она, возвратившись, – как они бледны и почти не пахнут. Не правда ли, они похожи на изгнанников, которые томятся по своей родине? Мне кажется, они также имеют понятие о том, что называется отечеством. Они способны чувствовать и страдать.

– Вы ошибаетесь, – ответил я, – эти цветы родились в Англии; им подходят здешние воздух и атмосфера; это дети туманов, а не росы, и солнце более жаркое сожгло бы их. Впрочем, они созданы для того, чтобы служить украшением белокурых локонов белокожих дочерей севера. Для вас, для ваших черных волос нужны те пламенные розы, которые цветут в Испании. Мы отправимся за ними туда, когда вы захотите.

Полина печально улыбнулась.

– Да, в Испанию... в Швейцарию... в Италию... куда угодно... но только не во Францию...

Потом она продолжила ходить, не говоря больше ни слова и бездумно обрывая листки роз по дороге.

– Но неужели вы навсегда потеряли надежду туда вернуться? – спросил я.

– Разве я не умерла?

– Но под другим именем...

– Тогда надо изменить и внешность.

– Итак, это страшная тайна?

– Она словно медаль, у которой есть две стороны: одна – яд, другая – эшафот. Я должна открыть вам все, и чем скорее, тем лучше. Но расскажите мне прежде, какое чудо Провидения привело вас ко мне?

Мы сели на скамью под величественным платаном, крона которого закрывала часть сада. Я начал свой рассказ от самого приезда в Трувиль. Поведал Полине о том, как попал в бурю; как меня выбросило на берег; как в поисках убежища набрел на развалины аббатства; как, проснувшись от странного шума, увидел человека, выходившего из подземелья; как этот человек зарыл что-то под камнем; и как с тех пор я твердо решил проникнуть в эту тайну. Потом я рассказал ей о путешествии в Див, роковом для меня, об отчаянном намерении увидеть ее еще раз; об удивлении своем и радости, которые я испытал при виде другой женщины на смертном одре; наконец, о своем ночном путешествии, о ключе под камнем, о входе в подземелье, о счастье и радости своей, когда нашел ее. Я рассказал ей обо всем этом, ничего не говоря о любви, но она звучала в каждом произнесенном мною слове. И в то время, когда я говорил, я испытывал счастье и был вознагражден. Я почувствовал, что этот страстный рассказ передал ей мое волнение, и что некоторые слова проникли тайно в ее сердце. Когда я окончил повествование, она взяла мою руку и пожала ее. Некоторое время Полина молча смотрела на меня с выражением ангельской кротости и признательности. Потом заговорила:

– Дайте мне клятву, – сказала она.

– Какую? Говорите.

– Поклянитесь тем, что для вас священо, что вы не откроете никому моей тайны, по крайней мере до тех пор, пока я, мать моя или граф будем живы.

– Клянусь честью! – ответил я.

– Так слушайте же.

VII

– Нет надобности говорить вам о моей семье, вы ее знаете: это моя мать, несколько дальних родственников да и все, пожалуй. Я имела порядочное состояние...

– Увы! – прервал я. – И почему только вы не были бедны?

– Отец мой, – продолжала Полина, делая вид, что не заметила моего восклицания, – оставил после своей смерти сорок тысяч ливров ежегодного дохода. Кроме меня, других наследников не было, и я вступила в свет как богатая наследница.

– Вы забываете, – сказал я, – о красоте своей и блестящем воспитании.

– Вы беспрестанно перебиваете меня и не даете продолжать, – улыбнулась Полина.

– О! Вы не можете рассказать так, как я, о том впечатлении, которое вы произвели на всех в свете; эта часть истории известна мне лучше. Вы, сами о том не подозревая, были королевой всех балов, царицей в лавровом венке, невидимом для одних только ваших глаз. Тогда я впервые встретил вас. Это случилось у княгини Бел... Все, кто только был знаменит и известен, собрались у этой прекрасной изгнанницы Милана. Там пели, и виртуозы наших гостиных подходили поочередно к фортепиано. Все, чего только может достичь музыка и пение, соединилось вместе, чтобы восхитить эту толпу дилетантов, удивляющуюся всегда, встречая в свете то совершенство исполнения, которого мы требуем и так редко находим в театре. Потом кто-то начал говорить о вас и произнес ваше имя; уже тогда сердце мое забилося в волнении. Княгиня встала, взяла вас за руку и повела, словно жертву, к этому алтарю мелодии. Скажите мне, отчего, когда я увидел смущение ваше, чувство страха охватило меня, как будто вы были моей сестрой, хотя я знал вас не более четверти часа? О! Я дрожал, может быть, сильнее, чем вы, и, верно, вы были далеки от мысли, что в этой толпе есть сердце, родное вашему, которое колотилось от страха и восхищалось вашим торжеством. Уста ваши открылись, и мы услышали первые звуки голоса еще дрожавшего и неверного. Но вскоре ноты стали чистыми и звучными; глаза ваши устремились к небу. Толпа, окружавшая вас, сомкнулась, и не знаю даже, услышали ли вы ее рукоплескания; душа ваша, казалось, парила над всем этим где-то в вышине. Это была ария Беллини, мелодичная и простая, однако же полная печали, какую мог создать только он один. Я не рукоплескал вам – я плакал. Вы возвратились на свое место; похвалы лились на вас ручьем; я один не смел подойти к вам; я сел так, чтобы видеть вас беспрестанно. Вечер продолжил свое течение. Звучала музыка, потрясая восхищенных слушателей своей гармонией. Но я ее не слышал. С тех пор как вы оставили фортепиано, все чувства мои сосредоточились на одном. Я смотрел на вас. Помните ли вы этот вечер?

– Да, я припоминаю его, – кивнула Полина.

– Потом, – продолжал я, забыв о том, что прерываю ее рассказ, – потом я услышал в другой раз не эту самую арию, но ее народный вариант. Это было в Сицилии, вечером одного из тех дней, которые бывают только в Италии и Греции. Солнце едва скрылось за Джирджентами, древним Агригентом. Я сидел возле дороги. По левую сторону от меня в вечернем сумраке начинал теряться морской берег, усеянный развалинами, среди которых возвышались три храма; вдали простиралось море, неподвижное и блестящее как серебряное зеркало. По правую сторону от меня на золотом фоне выделялись резкие контуры города, как бы сошедшего с одной из картин мастеров первой флорентийской школы, которые приписывают Гадди и которые помечены именами Чимабуэ или Джотто. Рядом со мной прошла молодая девушка: она возвращалась от фонтана и несла на голове одну из столь красивых древних амфор. Она напевала ту самую песенку, о которой я говорил вам. О! Если бы вы знали, какое впечатление произвела на меня эта песенка. Я закрыл глаза и склонил голову на грудь: море, берег, храмы – все исчезло, даже эта итальянская девушка, которая, как волшебница, вернула меня на три года назад и перенесла в салон княгини Бел... Тогда я опять увидел вас, опять услышал ваш

голос и смотрел на вас с восторгом. Но вдруг глубокая печаль овладела мной, потому что в то время вы не были уже молодой девушкой, которую я так любил и которую называли Полиной Мельен; вы стали графиней Безеваль... Увы!.. Увы!..

– Да, увы! – прошептала Полина.

В молчании прошло несколько минут. Полина первая его нарушила.

– Да, это было прекрасное, счастливое время моей жизни, – сказала она. – Ах! Молодые девушки не понимают своего счастья; они не знают, что несчастье не смеет дотронуться до покрова целомудрия, который муж некогда сорвет с них. Да, я была счастлива в продолжение трех лет. За эти годы едва ли омрачалось сверкающее солнце моей юности, едва ли затмевалось оно, как облаком, каким-нибудь невинным волнением, которое молодые девушки принимают за любовь. Лето проводили мы в своем замке Мельен, на зиму возвращались в Париж. Лето проходило в деревенских праздниках, а зимы едва хватало на городские развлечения. Я не думала, что жизнь, столь радостная и спокойная, когда-нибудь может закончиться. Я была весела и доверчива. Так мы прожили до осени 1830 года.

Подле нас, по соседству, находилась дача госпожи Люсьен, муж которой был большим другом моего отца. Однажды вечером она пригласила меня и мою матушку провести весь следующий день у нее в замке. Ее муж, сын и несколько молодых людей, приехавших из Парижа, собрались для кабаньей охоты, а большой обед должен был прославить победу нового Мелеагра⁴. Мы дали слово.

Приехав в замок, мы не застали уже охотников. Но так как парк был огражден стенами, то мы легко могли присоединиться к ним. Впрочем, время от времени до нас должны были доноситься звуки рога. Услышав их, мы могли явиться на место охоты, когда пожелаем бы, и испытать удовольствие, не рискуя устать. Господин Люсьен остался в замке с женой, дочерью, моей матушкой и со мной; Поль, сын его, заправлял охотой.

В полдень звуки рога зазвучали заметно ближе; мы услышали сигнал, повторившийся несколько раз. Господин Люсьен сказал нам, что теперь самое время смотреть; кабана загнали, и если мы этого хотим, пора садиться на лошадей; в ту же минуту к нам прискакал один из охотников с приглашением от Поля. Господин Люсьен взял карабин, повесил его через плечо; мы сели на лошадей и отправились вслед за ними. Матери наши пошли пешком в павильон, вокруг которого происходила охота.

Через несколько минут мы были уже на месте и, несмотря на мое отвращение к этой забаве, звуки рога, быстрая езда, лай собак, крики охотников произвели и на нас свое действие: мы – Люция и я, смеясь и внутренне дрожа от страха, поскакали наравне с самыми искусными кавалерами. Два или три раза мы видели кабана, перебежавшего аллеи, и собак, почти настигших его. Наконец он прижался к большому дубу, развернулся и выставил морду с обнаженными клыками на свору собак. Это было на краю одной прогалины в лесу, куда выходили окна павильона, так что госпожа Люсьен и моя матушка могли видеть все происходившее.

Охотники стояли полукругом, в сорока или пятидесяти шагах от того места, где происходила схватка. Собаки, разгоряченные скорым бегом, бросились на кабана, который почти исчез под этой движущейся пестрой массой. Время от времени одна из нападавших гончих подлетала вверх на высоту восьми или десяти футов и падала с визгом вся окровавленная; потом бросалась в самую гущу схватки и, несмотря на раны, вновь нападала на своего неприятеля. Это сражение продолжалось не более четверти часа, и уже более десяти или двенадцати собак были смертельно ранены. Это зрелище, ужасное и кровавое, сделалось для меня мучением и, кажется, то же действие произвело на других наблюдателей: до меня донесся голос госпожи Люсьен, которая кричала: «Довольно, довольно! Прощу тебя, Поль, довольно!» В ту же минуту

⁴ Мелеагр – древнегреческий герой, участник похода аргонавтов.

ее сын соскочил с лошади с карабином в руке, подошел на несколько шагов к кабану, прицелился и выстрелил.

В то же мгновение все происходило стремительно, как удар молнии: собаки разлетелись в разные стороны, раненый кабан рванулся вперед, и, прежде чем госпожа Люсьен успела вскрикнуть, зверь был уже на Поле; молодой человек упал, а свирепое животное, вместо того чтобы бежать, нависло в остервенении над своим новым неприятелем.

Наступила минута страшного молчания; госпожа Люсьен, бледная как смерть, простирая руки к сыну, хотела кричать, но лишь едва слышно шептала: «Спасите его! Спасите!..» Господин Люсьен, который один был вооружен, взял свой карабин и хотел прицелиться в кабана; но Поль находился прямо под ним: малейшая осечка – и отец мог убить сына. По его телу пробежала дрожь; он ощутил собственное бессилие, бросил карабин и устремился к Полю, крича: «На помощь! На помощь!» Прочие охотники последовали за ним. В то же мгновение один молодой человек соскочил с лошади, поднял ружье и крикнул громким и повелительным голосом: «Вернитесь на место, господа!» Охотники расступились, чтобы дать дорогу посланнице смерти, которая иначе могла попасть в них. То, о чем я расскажу вам, заняло не больше минуты.

Взоры всех остановились тотчас на стрелке и на той страшной цели, что он избрал; что касается его самого, то он был тверд и спокоен, как будто перед глазами его была простая мишень. Дуло карабина медленно поднялось; потом, достигнув известной высоты, охотник и ружье сделались совершенно неподвижны, словно оба они были высечены из камня. Раздался выстрел, и кабан, смертельно раненный, повалился в двух-трех шагах от Поля, который, освободившись от своего противника, стал на одно колено и схватился за охотничий нож. Но это было лишнее: пуля была направлена верной рукой, и принесла своей жертве смерть. Госпожа Люсьен вскрикнула и упала в обморок; ее дочь, Люция, начала спускаться с лошади и упала бы, если бы один из охотников не поддержал ее; я соскочила с коня и побежала на помощь к госпоже Люсьен. Что же касается охотников, то они окружили Поля и мертвого кабана, за исключением того стрелка, который, выстрелив, спокойно прислонил карабин к стволу дерева. Госпожа Люсьен пришла в чувство на руках сына и мужа. Поль получил только легкую рану в ногу: так скоро произошло все, рассказанное мной. Когда утихло первое волнение, госпожа Люсьен посмотрела вокруг: она хотела выразить свою благодарность матери и искала охотника, спасшего ее сына. Господин Люсьен понял ее намерение и подвел его. Госпожа Люсьен схватила его руку, хотела благодарить, но залилась слезами и могла выговорить только: «О! Господин Безеваль!..»

– Так это был он? – вскрикнул я.

– Да, это был он. Я увидела его там впервые, окруженного признательностью целого семейства. Меня захватило волнение, вызванное эпизодом, героем которого бесспорно являлся он. Это был белокурый молодой человек среднего роста с черными глазами. На первый взгляд, ему, казалось, не было и двадцати лет; но, рассматривая его внимательнее, можно было заметить легкие морщины, расползавшиеся от век к вискам; едва заметная складка пересекала его лоб, что говорило о постоянно гнетущих его мрачных мыслях, таившихся в сердце. Бледные тонкие губы, прекрасные зубы и женственные руки дополняли внешность этого человека, который сначала внушил мне скорее чувство отвращения, нежели симпатию; в эти минуты всеобщего восторга, когда мать от всего сердца благодарила его за спасение сына, взгляд его был чрезвычайно холоден.

Охота закончилась, и мы возвратились в замок. Войдя в гостиную, граф Безеваль извинился, что вынужден уехать: он дал слово быть на обеде в Париже. Ему заметили, что надо сделать пятнадцать лье за четыре часа, чтобы поспеть вовремя. Граф ответил с улыбкой, что его лошадь привыкла к такой езде, и приказал своему слуге привести ее.

Этот слуга был малайцем; граф привез его из путешествия, совершенного им в Индию для получения значительного наследства. Хотя слуга жил во Франции уже около трех лет, он носил национальный костюм и говорил только на своем родном языке, на котором граф знал всего несколько слов, однако их хватало для того, чтобы объясняться с малайцем. Он исполнил приказание с удивительным проворством, и скоро из окон гостиной мы увидели двух бьющих копытами от нетерпения породистых скакунов, которых так расхваливали все мужчины. Это были в самом деле, насколько я могла судить, те превосходные лошади, которых хотел заполучить принц Конде, но граф удвоил цену, предложенную его королевским высочеством, и они ему не достались.

Все провожали графа до дверей. Госпожа Люсьен, казалось, так и не успела выразить ему всю свою признательность и жала его руки, умоляя возвратиться. Он обещал так и поступить, бросив быстрый взгляд в сторону, заставивший меня спрятать глаза как от молнии; мне показалось, не знаю отчего, что этот взгляд был адресован именно мне. Когда я подняла голову, граф уже сидел на лошади. Он поклонился в последний раз госпоже Люсьен, сделал всем общее приветствие, а Полю – дружеский знак рукой, и, пришпорив лошадь, поскакал вперед и вскоре скрылся за поворотом дороги.

Никто не двинулся с места: все молча смотрели в ту сторону, где исчез граф. В этом человеке было что-то необыкновенное, что невольно приковывало к нему внимание. В нем чувствовалась могущественная натура, которую природа, как бы по капризу, любит иногда заключать в тела, по-видимому, слишком слабые, чтобы ей соответствовать. Сколько противоречивости было в этом человеке! Тем, кто не знал его, он казался слабым и бессильным, страдающим телесным недугом; для друзей же и товарищей своих он был железным человеком, способным побороть всякую усталость, превозмочь всякое волнение, справиться со всякой нуждой. Поль видел, как граф проводил целые ночи за картами или в буйных оргиях, а на другой день, когда товарищи его еще спали, отправлялся, не отдохнув ни часу, на охоту или на прогулку с другими знакомыми. Их он утомлял также, как и первых, не показывая сам никаких признаков усталости, кроме сильной бледности и сухого кашля, обычного для него, но в этом случае повторявшегося чаще.

Не знаю отчего, я слушала эти подробности с чрезвычайным интересом; без сомнения сцена, происходившая при мне на охоте, хладнокровие графа, продемонстрированное им на деле, мое недавнее волнение стали причиной того внимания, которое придавала я всему, что рассказывали о нем. Впрочем, самый искусный расчет не мог изобрести ничего лучше этого внезапного отъезда, превратившего замок в своего рода пустыню. Так велико было впечатление, которое произвел уехавший граф на его обитателей.

Позвали к столу. Разговор, прерванный на некоторое время, снова возобновился за десертом, и, как утром, предметом его был граф Безеваль; тогда, то ли оттого, что это постоянное внимание показалось присутствующим оскорбительным, то ли в самом деле многие из приписываемых ему качеств вызвали некоторые сомнения, разгорелся легкий спор о его странной жизни, о неизвестном происхождении его богатства; о его храбрости, которую кто-то из собеседников объяснял искусным владением шпагой и пистолетом. Тогда Поль, что естественно, принял на себя роль защитника того, кто спас ему жизнь. Жизнь графа почти ничем не отличалась от жизни всех молодых людей; богатство его происходило от наследства, полученного от дяди по матери, жившего пятнадцать лет в Индии. Что же касается его храбрости, то вокруг этого споров почти не возникало, потому что граф не только доказал ее на многих дуэлях, из которых почти всегда выходил невредимым, но и в других случаях. Поль рассказал тогда о многих из них, но один мне особенно запомнился.

Граф Безеваль, приехав на Гоа, нашел дядю мертвым; но завещание было сделано в его пользу, так что никакое опровержение не имело оснований, хотя двое молодых англичан, родственники покойного (мать графа была англичанкой), в такой же степени являлись наследни-

ками, как и он; но, несмотря на это, граф оказался единственным обладателем всего имения, оставшегося после дяди. Впрочем, оба англичанина были богаты и находились на службе, являясь офицерами части Британской армии, составлявшей гарнизон Бомбея. Они приняли своего двоюродного брата если и не с радушием, то по крайней мере с учтивостью, и перед его отъездом во Францию дали с товарищами, офицерами своего полка, в его честь прощальный обед.

В это время граф был моложе четырьмя годами и выглядел лет на восемнадцать, хотя ему было двадцать пять. Его стройная талия, бледное чело, белизна рук придавали ему схожесть с женщиной, которая будто переделась в мужчину. И так при первом знакомстве английские офицеры соизмерили храбрость своего собеседника с его наружностью. Граф, со своей стороны, с той быстротой мысли, которая отличала его, тотчас понял, какое впечатление произвел, и, уверенный в намерении хозяев посмеяться над ним, принял свои меры и решился не оставлять Бомбей без какого-нибудь воспоминания о его пребывании здесь. Садясь за стол, два молодых офицера спросили своего родственника, говорит ли он по-английски. Граф, зная этот язык так же хорошо, как и свой родной, ответил скромно, что он не понимает на нем ни одного слова, и просил их, если они желают, чтобы он принимал участие в их разговоре, говорить по-французски.

Это дало большую свободу его собеседникам, и с первого блюда граф заметил, что он стал предметом беспрестанных насмешек. Однако он внимал всему с улыбкой на губах и с веселостью в глазах; только щеки его сделались бледнее, и несколько раз зубы его ударялись о края стакана, который он подносил ко рту. За десертом оживление удвоилось вместе с французским вином, и разговор обратился к охоте. Тогда графа спросили, на какую дичь и каким образом он охотился во Франции? Граф, решив играть свою роль до конца, ответил, что он с легавыми охотился в долинах на куропаток и зайцев, а в лесах с гончими – на лисиц и оленей.

– О! о! – сказал, смеясь, один из собеседников. – Вы охотитесь на зайцев, лисиц и оленей? А мы здесь охотимся на тигров.

– Каким же образом? – спросил граф с совершенным добродушием.

– Каким образом? – переспросил другой собеседник. – Мы садимся на слонов с рабами, одни из которых вооружены пиками и секирами, они закрывают нас от зверя; а другие навьючены ружьями, из них мы стреляем.

– Это должно быть незабываемое удовольствие, – ответил граф.

– Очень жаль, – сказал один из молодых людей, – что вы уезжаете так скоро, милый братец, а то и вы могли бы насладиться такой охотой.

– В самом деле? – спросил граф. – Я очень жалею о том, что упускаю подобный случай; впрочем, если не нужно долго ждать, я останусь.

– Чудесно! – воскликнул первый. – В трех лье отсюда, на болоте, расположенном у подножия гор и простирающемся от Сюрата, есть логово тигрицы с тигрятами. Индийцы, у которых она похитила овцу, только вчера рассказали нам об этом; мы хотели подождать, пока тигрята подрастут; но теперь, имея столь прекрасную возможность угодить вам, мы устроим охоту на пятнадцать дней раньше.

– Очень признателен вам, – сказал, кланяясь, граф. – Но точно ли вы уверены в том, что тигрица есть, или об этом только поговаривают?

– В этом нет никакого сомнения.

– И точно известно, где именно находится ее логово?

– Это легко увидеть, забравшись на гору, откуда открывается вид на болото; следы ее можно заметить по изломанному тростнику, и все расходятся от одной точки, как лучи звезды.

– Хорошо! – кивнул граф, наполнил свой стакан и, встав, предложил тост: «За здоровье того, кто пойдет убить тигрицу в ее логове с двумя тигрятами, один, пешком и без другого оружия, кроме этого кинжала!» При этих словах он выхватил из-за пояса одного невольника малайский кинжал и положил его на стол.

– Вы сумасшедший! – вскрикнул один из офицеров.

– Нет, господа, я не сумасшедший, – сказал граф с горечью, смешанной с презрением, – и в доказательство повторяю свой тост. Слушайте же внимательно, ибо тот, кто захочет его принять, должен знать, на что идет, осушая свой стакан: «За того, – говорю, – кто пойдет убить тигрицу в ее логове с двумя тигрятами, один, пешком и без всякого оружия, кроме этого кинжала».

Повисла пауза, в продолжение которой граф поочередно смотрел на своих собеседников, ожидая ответа; но все они лишь опускали глаза.

– Никто не желает? – произнес он с улыбкой. – Никто не смеет принять моего тоста... никто не имеет духа ответить мне?... Так пойду я, и если не пойду, скажите, что я трус, так как теперь я говорю вам, что вы подлецы!

При этих словах граф осушил стакан, спокойно поставил его на стол и пошел к двери:

– До завтра, господа, – попрощался он и вышел.

В шесть часов утра он был готов к этой ужасной охоте. Как раз в это время его вчерашние товарищи вошли к нему в комнату. Они принялись умолять его отказаться от этого намерения, говорили, что он идет на верную смерть. Но граф не хотел ничего слышать. Они сознались, что виноваты перед ним и что вели себя вчера как глупцы. Граф поблагодарил их за извинения, но отказался принять их. Тогда они предложили ему драться с одним из них, если он считает себя настолько оскорбленным, чтобы требовать удовлетворения. Граф ответил с насмешкой, что его религиозные убеждения запрещают ему проливать кровь ближнего, и что со своей стороны он возвратил обидные слова, ему сказанные; но что касается охоты, то ничто на свете не заставит его от нее отказаться. Закончив этим, он пригласил офицеров сесть на лошадей и проводить его, предупреждая, что если они не захотят оказать ему этой чести, он пойдет один. Это решение было высказано голосом столь твердым, что казалось совершенно неизменным, поэтому офицеры решили оставить уговоры, и, сев на лошадей, поехали к восточным воротам города, назначенным пунктом сбора.

Кавалькада их в молчании продвигалась к указанному месту. Каждый из офицеров имел двустольное ружье или карабин. Один граф был без оружия; костюм его, совершенно изящный, походил на тот, в котором молодые светские львы совершают утренние прогулки в Булонском лесу. Все офицеры смотрели друг на друга с удивлением и не могли поверить в то, что он сохранит это хладнокровие до конца.

Приехав на границу болота, офицеры снова предприняли попытку отсоветовать графу идти далее. В это время, как бы вторя их уговорам, в нескольких сотнях шагов от них раздалось рычание зверя; испуганные лошади зафыркали и стали жаться одна к другой.

– Вы видите, господа, – сказал граф, – теперь уже поздно: мы замечены; животное знает, что мы здесь; и, покидая Индию, которой, наверное, никогда больше не увижу, я не хочу оставить неверное мнение о себе даже у тигра. Вперед, господа!

И граф прищипорил лошадь, чтобы преодолеть гору, с вершины которой виднелся тростник, где скрывался зверь.

Подъехав к подошве горы, они снова слышали рычание, но на этот раз оно раздалось так близко, что одна из лошадей бросилась в сторону и едва не сбросила наездника с седла; другие лошади, с пеной на мордах, с раздувавшимися ноздрями и испуганными глазами, дрожали, как будто их окатили ледяной водой. Тогда офицеры сошли с лошадей и отдали поводья слугам. Граф первым начал подниматься на возвышенность, с которой хотел осмотреть местность.

В самом деле, с высоты холма по изломанному тростнику были заметны следы передвижений страшного зверя, с которым граф шел сражаться; своего рода дорожки, шириной в два фута, были протоптаны в зарослях, и каждая из них, как рассказывали ему офицеры, вела к одному месту, где образовалась прогалина. В третий раз оттуда раздался рык и развеял все сомнения графа: теперь он точно знал, где искать тигрицу.

Тогда старшие из офицеров опять подошли к нему; но граф, поняв их намерение, сделал протестующий знак рукой, показывая, что уговоры бесполезны. Потом застегнул сюртук, попросил у одного из родственников шелковый шарф, которым тот был опоясан, и обернул им левую руку; сделал знак малайцу подать ему кинжал, прикрепил его к руке мокрым фуляровым платком; потом, положив шляпу на землю и поправив грациозно волосы, направился самым кратчайшим путем к тростнику и скрылся в нем через минуту, оставив товарищей своих в неверии и страхе.

Что касается графа, то он шел медленно и осторожно по выбранной им дорожке, протоптанной так, что ему не было надобности сворачивать ни вправо, ни влево. Пройдя около пятидесяти шагов, граф услышал глухое ворчание, по которому узнал, что неприятель его насто- роже и если не видит, то уж учуял его; он остановился на одну только секунду и, как только шум прекратился, продолжал идти. Пройдя около пятидесяти шагов, опять остановился; ему показалось, что если он еще и не пришел, то должен быть очень близко к берлоге, потому что достиг уже прогалины, усеянной костями, на которых виднелось еще окровавленное мясо. Он осмотрелся вокруг и в траве, в четырех или пяти футах от себя, увидел тигрицу, полулежа- щую, с разинутой пастью и глазами, устремленными на него; тигрята играли на ее брюхе, как маленькие котятка.

Один только он мог сказать, что происходило в душе его при этом зрелище; но душа его была бездной, в которой все было сокрыто.

Некоторое время тигрица и он смотрели друг на друга не шевелясь; наконец граф, видя, что она, вероятно боясь оставить детей своих, не идет к нему, сам пошел к ней.

Граф приблизился к тигрице на расстояние четырех шагов и, увидев, что она сделала движение, чтобы встать, – ринулся вперед. Те, которые смотрели и прислушивались, услышали вдруг рев и крик и видели несколько секунд движение в тростнике, потом наступила тишина: все кончилось.

Офицеры подождали еще с минуту, не возвратится ли граф. Но тот не возвращался. Тогда им стало стыдно, что они оставили его одного, и они решились спасти по крайней мере его тело, если не спасли его жизнь. Они ободрились и пошли в болото, по дороге останавливаясь время от времени и прислушиваясь; но все было тихо.

Наконец, придя к прогалине, нашли обоих неприятелей, лежавших один на другом. Тигрица была мертва, а граф без чувств. Тигрята же, слишком слабые, чтобы пожирать тело, лизали его кровь.

Тигрица получила семнадцать ударов кинжалом; а граф только две раны: одну – от зубов – на левой руке, а другую – от когтей, которые растерзали ему грудь.

Офицеры забрали труп тигрицы и тело графа; человек и животное отправились в Бомбей, лежа один подле другого на одних носилках. Что же касается тигрят, то малайский невольник обвязал их бумажной тканью своего тюрбана, и они висели по обеим сторонам его седла.

Встав через пятнадцать дней, граф нашел возле своей постели шкуру тигрицы с жемчужными зубами, рубиновыми глазами и золотыми когтями. Это был подарок офицеров того полка, в котором служили его двоюродные братья.

VIII

Этот рассказ произвел на меня глубокое впечатление. Мужчине легко покорить женщину своей храбростью. Причина тому, должно быть, кроется в слабости нашего пола, или в том, что мы, будучи бессильными, имеем вечную нужду в опоре? Таким образом, несмотря на все то, что говорилось не в пользу графа Безеваля, мне запомнились эти две охоты, на одной из которых я присутствовала. Однако ужас охватывал меня, когда я думала о страшном холонокровии графа, которому Поль был обязан жизнью. Какая чудовищная борьба шла в этом сердце, прежде чем воля обуздавала его чувства; какой пожар пожирал эту душу, пока ее пламя не обратилось в пепел, а лава не стала льдом.

Большое несчастье нашего времени – стремление ко всему романтическому и презрение ко всему обыденному. Чем сильнее человек разочарован, тем больше его деятельное воображение требует чего-то чрезвычайного, что каждый день исчезает из жизни света, чтобы укрыться в театре или в романах. Итак, вы не удивитесь, что образ графа Безеваля впечатлил молодую девушку, ослепленную его отвагой, и остался в ее неискушенном воображении. Так что, когда мы через несколько дней после происшедших событий увидели ехавших по большой аллее двух кавалеров и когда о них доложили как о Поле Люсьене и графе Горации Безевале, в первый раз в жизни сердце мое забилося чаще, в глазах потемнело, и я встала с намерением бежать; матушка меня удержала; в это время они вошли.

Не помню, о чем мы сначала говорили, но, вероятно, я произвела впечатление очень робкой и неловкой особы, потому что, подняв глаза, увидела, что граф Безеваль смотрит на меня с каким-то странным выражением, которого я никогда не забуду; однако мало-помалу я освободилась от своего предубеждения и пришла в себя; тогда я смогла слушать и смотреть на него, как слушала и смотрела на Поля.

Лицо графа оставалось таким же бесстрастным; у него был все тот же неподвижный и проницательный взгляд; его приятный голос, как его руки и ноги, больше подходил женщине, нежели мужчине; впрочем, когда он воодушевлялся, голос этот обретал силу, к чему, как казалось поначалу, он был совершенно не способен. Поль, как признательный друг, обратил разговор на предмет, способный еще выше превознести графа: он говорил о его путешествиях. Граф с минуту не решался поддаться этому искушению. Говорили, что он опасался сам начинать разговор и выставлять свои достоинства напоказ; но вскоре воспоминания об увиденных местах оживились; колоритный быт диких стран вступил в борьбу с монотонным существованием образованных городов и победил его; граф очутился опять посреди роскошной Индии и в окружении чудесных пейзажей Мальдив. Он рассказал нам о своих путешествиях по Бенгальскому заливу; о сражениях с малайскими пиратами; он увлекся блестящей картиной этой необычной жизни, в которой каждый час что-то дарит уму или сердцу; он представил нам во всей полноте первобытное существование, когда человек, свободный и сильный, будучи по своей воле рабом или царем, не имел других уз, кроме собственной прихоти, других границ, кроме горизонта; когда, задохнувшись на земле, он распускал паруса своих кораблей, как орел крылья, и забирал у океана бесконечность. Потом вдруг граф перескочил на наше дряхлое общество, где все так скучно – преступление и добродетель; в котором все поддельно – лицо и душа; где мы – рабы, заключенные в рамки законов, пленники, скованные приличиями, обязанностями, которые должно исполнять; для каждого дня – особое платье и цвет перчаток, – и все это из страха показаться смешными, ведь смешное во Франции может запятнать имя хуже грязи или крови.

Не стану говорить вам о том, как горько и красноречиво, насмешливо и дико граф изливал критику на наше общество в тот вечер. Рассказчик олицетворял одно из творений поэтов – Манфреда или Карла Моора; являя собой одну из тех бунтарских натур, что восстают про-

тив глупых и пустых требований нашего общества; это был гений борьбы с миром, который, будучи скованным его законами, приличиями и привычками, сокрушал их, как лев – жалкие сети, расставленные для лисицы или волка.

Когда я внимала этой страшной философии, мне казалось, что я читаю Байрона или Гете: чувствовалась та же сила мысли, возвышенная могуществом выражения. Теперь с этого лица, столь бесстрастного прежде, упала маска холодности; оно озарилось воодушевлением от пламенных речей, а глаза его метали молнии. Теперь этот голос, настолько приятный, звучал то восторженно, то мрачно. Потом вдруг энтузиазм и разочарование, надежда и презрение, поэзия и вещественный мир – все растопилось в одной улыбке, какой я никогда еще не видела. Она одна содержала в себе больше отчаяния и укора, нежели самые горестные рыдания.

Этот визит длился не более часа. Когда граф и Поль вышли, мы с матушкой смотрели с минуту друг на друга, не произнося ни слова. Я почувствовала себя так, будто с души моей свалился камень: этот человек угнетал меня, как Мефистофель Маргариту. Впечатление, которое он произвел на меня, было столь очевидно, что матушка принялась защищать графа, тогда как я и не думала на него нападать. Ей уже давно говорили о нем, и, как и обо всех замечательных людях, в свете о графе высказывались самые противоположные суждения. Впрочем, матушка смотрела на него со своей точки зрения, совершенно отличной от моей; все софизмы графа казались ей не чем иным, как игрой ума, – своего рода злословием, направленным на целое общество, подобным тому, что изо дня в день извергается в адрес какого-либо из его членов. Это различие во мнениях, которого я не хотела опровергать, заставило меня признаться матушке, что я не интересуюсь графом более. Через десять минут я сказала, что у меня болит голова, и пошла в сад. Но и там ничто не могло рассеять моего предубеждения: я не сделала еще и ста шагов, как вынуждена была сознаться самой себе, что не хотела ничего слушать о графе, а предпочитала думать о нем. Это испугало меня; я не любила графа, потому что сердце мое, когда возвестили о его приезде, забилося скорее от страха, нежели от радости; впрочем, я не боялась его, или, исходя из логических соображений, не должна была бояться, потому что он не мог повлиять на мою судьбу. Я встретила с ним один раз по воле случая, в другой раз – из учтивости и теперь не увижу, может быть, больше: с его натурой, склонной к приключениям, с его пристрастием к путешествиям, он может оставить Францию с минуты на минуту, и тогда его появление в моей жизни станет видением, мечтой – ничем более; пройдут пятнадцать дней, месяц, год, и я его забуду. Ожидая звонка к обеду, я удивилась, что он, прозвучав, застал меня в этих размышлениях, и вздрогнула, услышав его так скоро; часы пролетели как минуты.

Когда я вошла в залу, матушка передала мне приглашение графини М., которая осталась на лето в Париже и давала по случаю рождения дочери большой вечер с музыкой и танцами. Матушка, всегда столь добрая ко мне, хотела, прежде чем дать ответ, посоветоваться со мной. Я тотчас согласилась – это была прекрасная возможность отвлечься от мыслей, захвативших меня. В самом деле, до бала оставалось всего три дня, и этого времени едва ли было достаточно для приготовлений; потому-то я и надеялась, что воспоминания о графе изгладятся из моей памяти или по крайней мере отойдут на второй план во время занятий туалетом. Со своей стороны, я сделала все, чтобы достичь желаемого результата; я говорила в этот вечер с жаром, которого матушка во мне никогда не видела; просила возвратиться в тот же вечер в Париж под предлогом того, что мы едва успеваем заказать платья и цветы; я искренне надеялась, что перемена места поможет мне в борьбе с воспоминаниями. Матушка согласилась на все мои фантазии с обыкновенной своей добротой, и после обеда мы отправились в путь.

Я не ошиблась. Приготовления к вечеру, беззаботная веселость молодости, которой я никогда не теряла, и предвкушение бала отвратили невольный ужас, овладевший мной, и прогнали призрака, меня преследовавшего. Наконец желанный день наступил: я провела его в

каком-то лихорадочном оживлении, которого матушка никогда прежде не замечала за мной; она радовалась, обнаружив во мне такую перемену. Бедная матушка!

Когда пробило десять часов, я уже десять минут как была готова. Не знаю, как это случилось, но в тот вечер я, всегда столь медлительная, ожидала свою матушку. Наконец мы отправились. Почти все наше зимнее общество возвратилось, как и мы, в Париж специально к этому празднику. Я нашла там своих подруг из пансиона, своих неизменных кавалеров, но даже это веселое, живое удовольствие для молодой девушки уже начинало угасать.

В танцевальной зале было ужасно тесно. По окончании кадрили графиня М. взяла меня за руку и, чтобы избавиться от жары, увела в комнату, где играли в карты. Это было любопытное зрелище: все знаменитости из аристократов, литераторов и политиков нашего времени оказались там. Я уже знала многих из них, но некоторые были мне неизвестны. Госпожа М. назвала мне их, сопровождая каждое имя замечаниями, которым часто завидовали самые остроумные журналисты. Войдя в залу, я вдруг содрогнулась, невольно воскликнув:

– Граф Безеваль!

– Это он, – сказала госпожа М., улыбаясь. – Вы его знаете?

– Мы встречались в деревне у госпожи Люсьен.

– Да, – проговорила графиня, – я слышала об охоте, о приключении, случившемся с молодым Люсьеном...

В эту минуту граф поднял глаза и заметил нас. Нечто вроде улыбки мелькнуло на его лице.

– Господа! – обратился он к своим партнерам. – Позволите ли вы мне оставить вас? Я постараюсь прислать кого-нибудь на замену мне.

– Вот прекрасно! – воскликнул Поль. – Ты выиграл у нас четыре тысячи франков и теперь пришлешь вместо себя такого, который не проиграет и десяти луидоров... Нет! Нет!

Граф, готовый уже встать, опять сел. Сдали карты, он сделал ставку; один из игроков удержал ее и открыл свою игру. Тогда граф бросил карты, не показывая их, и, со словами «Я проиграл», отодвинул от себя золото и банковские билеты, что лежали перед ним и составляли его выигрыш, и снова поднялся.

– Могу ли я теперь оставить вас? – спросил он.

– Нет еще, – сказал Поль, открыв карты графа, – у тебя пять бубен, а у твоего противника только четыре пики.

– Сударыня, – произнес граф, повернувшись в нашу сторону и обращаясь к хозяйке, – я знаю, что мадемуазель Эжени будет просить сегодня на бедных. Позвольте мне первому внести свое пожертвование. – С этими словами он взял ящик, стоявший на геридоне⁵ возле игорного стола, опустил в него восемь тысяч франков, лежавшие перед ним, и подал его графине.

– Но я не знаю, могу ли принять, – отозвалась г-жа М., – такую значительную сумму?

– Я предлагаю ее, – возразил, улыбаясь, граф, – не от себя одного; большая часть денег принадлежит этим господам, и их-то должна благодарить мадемуазель Эжени от имени тех, кому она покровительствует. – Сказав это, он направился в танцевальную залу, оставив ящик, наполненный золотом и банковскими билетами, в руках графини.

– Он большой оригинал, – сказала мне госпожа М. – Увидел женщину, с которой ему захотелось танцевать, и вот цена, которую он готов заплатить за это удовольствие. Однако надобно спрятать ящик. Позвольте мне проводить вас в танцевальную залу.

Едва я села там, как граф подошел ко мне и пригласил танцевать.

Мне тотчас вспомнились слова графини. Я покраснела, подавая ему свой листок, в который уже были вписаны шесть кавалеров. Он перевернул его и, как будто не желая смешивать свое имя с другими, в самом верху страницы написал: «на седьмую кадрили». Потом граф

⁵ Небольшой столик-подставка на одной ножке.

вернул мне листок и сказал несколько слов, которых я не расслышала от смущения; затем я отошла к дверям и прислонилась к ним. Я была почти готова просить матушку покинуть бал; я дрожала так сильно, что, казалось, не могла держаться на ногах. К счастью, в это время прозвучал аккорд, возвестивший о том, что танцы отменялись. Лист сел за фортепиано.

Он играл *Invitation a la valse de Weber*⁶.

Никогда искусный музыкант не достигал такого совершенства в исполнении; или, может быть, я никогда прежде не была способна так чувствовать эту музыку, страстную и печальную; мне казалось, что я впервые слышу, как умоляет, стонет эта страдающая душа, которую автор «Фрейшюца»⁷ излил во вздохах своей мелодии. Все, что только музыка, этот язык ангелов, может выразить – надежду, горе, грусть, – все это было соединено в этом фрагменте, в импровизации вдохновенного артиста, чьи вариации следовали за мотивом, как объяснительные фразы. Я сама часто играла эту блестящую фантазию и удивилась, когда услышала ее вновь, созданную другим исполнителем. Теперь я находила в ней такие вещи, о которых раньше и не подозревала. Что было причиной этому – удивительный талант исполнителя или мое нынешнее расположение духа? Рука пианиста, искусно скользившая по клавишам, так далеко углубилась в рудник, что открыла в нем жилки, незаметные для других; или душа моя получила такое сильное потрясение, что ее дремавшие струны пробудились? Во всяком случае, действие было волшебное; звуки повисали в воздухе как пары, и наполняли меня мелодией. В какой-то миг я подняла глаза; взгляд графа был устремлен на меня; я быстро опустила голову, но поздно: теперь я не видела его глаз, но чувствовала взгляд, тяготивший меня; кровь ударила в лицо, и невольная дрожь охватила меня. Вскоре Лист закончил свое исполнение и встал; я услышала шум: гости теснились вокруг исполнителя и расточали ему свои похвалы. Я думала, что граф тоже оставит свое место, и в самом деле, осмелившись поднять голову, не нашла уже его у двери; я перевела дух, но не смела продолжать дальше своих поисков; я боялась встретить опять его взор и потому не хотела знать, где он находится.

Через минуту воцарилась тишина. Новый пианист сел за инструмент; я услышала многократное «тише!» в соседних залах и заключила, что любопытство слушателей сильно возбуждено; однако не смела поднять глаз. Колкая гамма пробежала по клавишам, за ней следовала полная и печальная прелюдия, потом звучный и сильный голос запел под мелодию Шуберта эти слова:

«Я все изучил: философию, право и медицину; копался в сердце человека; сходил в недра земли; окрыленный тягой к познанию, мой разум витал под облаками. И к чему привело меня это долгое ученье? К сомнению и унынию. Правда, нет во мне уже ни мечты, ни недоумения; не боюсь ни Бога, ни сатаны; но я купил эти выгоды ценой всех радостей жизни».

При первом слове я узнала голос графа Безеваля. Вы легко поймете, какое впечатление должны были произвести на меня эти слова Фауста в устах того, который пел их. Впрочем, они подействовали на всех. Минута глубокого молчания последовала за финальной нотой, которая улетела жалобная как скорбящая душа; потом со всех сторон раздались громкие рукоплескания. Тогда я осмелилась взглянуть на графа. Для всех, может быть, лицо его было спокойно и бесстрастно; но для меня легкий изгиб его губ ясно показывал то лихорадочное волнение, которое однажды овладело им во время посещения нашего замка. Госпожа М. подошла к нему, чтобы излить свои похвалы; тогда он снова беззаботно улыбнулся и вновь готов был повелевать умами, самыми строгими к приличиям света. Граф Безеваль предложил ей руку; по тому, как он смотрел на графиню, я заключила, что он делает ей комплименты на счет ее туалета. Все продолжая говорить с ней, он бросил на меня быстрый взгляд, который повстречался с

⁶ «Приглашение к танцу» К. М. Вебера.

⁷ Вольный стрелок, герой немецкой легенды, который благодаря договору с дьяволом стрелял без промаха; сюжет известной оперы К. М. Вебера «Вольный стрелок».

моим; я едва не вскрикнула: так меня это напугало. Без сомнения, он увидел мое смущение и сжалился надо мной, потому как увлек госпожу М. в соседнюю залу и скрылся с ней там. В ту же минуту музыканты дали знак к танцам; кавалер, записанный первым в моем списке, бросился ко мне; я безотчетно взяла его руку, и он увлек меня за собой в танце. Это все, что я могу вспомнить. Потом последовали две или три кадрили, в продолжение которых я немного успокоилась; наконец танцы прекратились, чтобы опять уступить место музыке.

Госпожа М. подошла ко мне; она просила меня принять участие в дуэте из первого акта «Дон Жуана». Я сначала отказалась, чувствуя себя неспособной петь в эту минуту. Хотя бы из одной робости и стеснения я не взяла бы ни одной ноты. Моя родительница, видя этот спор, из самолюбия матери поддержала графиню, обещавшую аккомпанировать. Я боялась, что если стану противиться, матушка начнет о чем-нибудь догадываться; я так часто исполняла эту партию, что у меня не нашлось основательного аргумента, который можно было бы противопоставить их аргументам. Графиня М. взяла меня за руку и подвела к фортепиано, за которое она и села; я расположилась за ее стулом, опустив глаза и не смея поднять их, чтобы не встретить опять взора, следовавшего за мной повсюду. Молодой человек подошел и стал по другую сторону от княгини; я осмелилась поднять глаза на своего партнера; дрожь пробежала по моему телу: это был граф Безеваль, который должен был исполнять партию Дон Жуана.

Вы понимаете, как велико было мое волнение, но отказаться было теперь невозможно: взгляды слушателей устремились на нас. Госпожа М. играла прелюдию. Граф начал петь; мне казалось, что звучал другой голос и пел другой человек, и когда он произнес *la ci darem la mano*, я содрогнулась, думая, что ошиблась, и не могла поверить, чтобы могущественный голос, заставлявший нас дрожать под мелодию Шуберта, мог смягчиться до звуков, столь тонких и приятных. Также с первой фразы шум рукоплесканий пробежал по всей зале. Когда я несмело начала: *vorrei e non vorrei mi trema un poco il cor*, в голосе моем звучал страх, но его заглушили раздавшиеся аплодисменты. Я не могу передать, сколько было любви в голосе графа, когда он начал *vieni mi bel deletto*, и сколько обольщения и обещаний в этой фразе: *io cangierm tua sorte*; все это так подходило ко мне; этот дуэт, казалось, так хорошо выражал мои чувства, что со мной чуть было не случился обморок, когда я выводила: *presto non son più forte*. Здесь музыка переменила выражение, и, вместо жалобы кокетки Зерлины, я услышала крик скорби, самой глубокой. В эту минуту граф подвинулся ко мне, рука его дотронулась до моей руки; огненное облако закрыло глаза мои; я схватила за стул графини М. и сильно вцепилась в него; благодаря этой опоре я еще могла держаться на ногах; но когда мы начали вместе: *andiamo, andiam mio bene*, я почувствовала его дыхание в волосах и на плечах своих, дрожь пробежала по мне; я испустила, произнося слово *amor*, крик который истощил все мои силы, и упала без чувств.

Матушка бросилась ко мне; но графиня М. первой приняла меня на свои руки. Обморок мой был приписан жаре; меня перенесли в соседнюю комнату; соли, которые давали мне нюхать, отворенное окно, несколько капель воды привели меня в чувство. Госпожа М. настаивала, чтобы я возвратилась в зал; но я ни о чем не хотела слышать. Матушка, обеспокоенная этим случаем, на этот раз согласилась со мной: велели подать карету и мы вернулись домой.

Я тотчас удалилась в свою комнату. Снимая перчатку, я уронила бумажку, вложенную в нее во время моего обморока; я подняла ее и прочла эти слова, написанные карандашом: «*Вы меня любите!.. Благодарю, благодарю!*»

IX

Я провела ужасную ночь, в рыданиях и муках. Вы, мужчины, не знаете и не будете никогда знать, что такое страдания молодой девушки, воспитанной матерью, чистое сердце которой не трепетало еще от чьего-то близкого дыхания. Я ощущала себя бедной беззащитной птичкой во власти могущественнейшей, которой невозможно сопротивляться. Я чувствовала, как меня словно увлекают за руку; мне слышался голос, говорящий: «вы меня любите», прежде нежели я сама сказала: «люблю вас».

О! Клянусь вам, я не знаю, как не лишилась ума в продолжение этой ночи; я считала себя погубленной. Повторяла шепотом и беспрестанно: «я люблю его!.. люблю его!», с ужасом столь глубоким, что теперь еще, мне кажется, нахожусь я во власти чувства, настолько противоречившего тому, которое, как я думала, овладело мной. Однако следовало, что все мои волнения были доказательством любви; потому что граф, от которого они не ускользнули, толковал их таким образом. Что касается меня, то подобные чувства в первый раз волновали мое сердце. Мне говорили, что не нужно бояться или ненавидеть тех, которые не сделали нам зла; я не могла тогда ни ненавидеть, ни бояться графа, и если чувство, которое я питала к нему, не было ни ненавистью, ни страхом, то это, как мне казалось, должна была быть любовь.

На другое утро, в ту самую минуту, когда мы сели за завтракать, нам принесли две визитные карточки от графа Безеваля; он прислал узнать о моем здоровье и спросить, не имел ли вчерашний случай каких-нибудь нехороших последствий. Этот неожиданный поступок графа показался матушке лишь простым доказательством учтивости. Граф пел со мной в то время, когда случился обморок, и это обстоятельство извиняло его поспешность. Матушка тогда только заметила, что у меня был утомленный и нездоровый вид; сначала она встревожилась, но я успокоила ее, сказав, что ничего страшного не произошло и что, впрочем, уединение в деревне поправит мое здоровье, если ей угодно туда возвратиться. Матушка всегда соглашалась со мной; она приказала заложить коляску, и к двум часам мы отправились в путь.

Я бежала из Парижа с такой же поспешностью, с какой четыре дня назад бежала из деревни; потому что первой мыслью моей, когда я увидела карточки графа, было то, что он сам явится, как только настанет приличное для такого визита время. Я хотела бежать от него, не видеть больше; после мысли, какую он возымел обо мне, после записки, им написанной, мне казалось, что я умру от стыда, увидевшись с ним. От всех этих размышлений мои щеки покрылись краской столь яркой, что матушка подумала, что в закрытом экипаже недостает воздуха; она велела остановиться и откинуть верх коляски. Тогда стояли последние дни сентября, замечательная пора; листья деревьев начинали желтеть и краснеть. Есть что-то весеннее в осени, и последние цветы года походят иногда на первые его произведения. Воздух, природа, беспрестанный меланхолический и неопределенный шум леса, – все это помогало моим мыслям рассеяться, когда вдруг, на одном из поворотов дороги, я заметила впереди мужчину, ехавшего верхом. Он был еще далеко от нас, однако я схватила матушку за руку с намерением просить ее возвратиться в Париж, потому что узнала в этом человеке графа; но вдруг остановилась. Чем бы объяснила я перемену решения? Это показалось бы капризом, и только. Мне не оставалось ничего другого, как собраться с духом.

Всадник ехал шагом и вскоре присоединился к нам. Это был, как я сказала, граф Безеваль.

Он подъехал к нам сразу, как только заметил; извинялся, что прислал так рано узнать о моем здоровье; но отъезжая в тот же день в деревню к господину Люсьену, он не хотел оставлять Париж с чувством беспокойства, и если бы время было приличное, он сам бы приехал. Я пробормотала несколько бессвязных слов; матушка поблагодарила его. «Мы также возвра-

щаемся в деревню», – сказала она. «Так значит вы позволите мне проводить вас до замка?» – спросил граф. Матушка поклонилась ему и улыбнулась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.